

ВЕДЬМИНЫ

СКАЗКИ



СЛАВЯНСКИЙ ФOLKLORE

Kerelinda

Watson

Ведьмины сказки

Kerelinda Wotson

Славянский фольклор

«Автор»

2026

Wotson K.

Славянский фольклор / К. Wotson — «Автор»,
2026 — (Ведьмины сказки)

Эта книга — мост. По одну сторону — привычная реальность. По другую — славянский мир, где всё живое: кривая ива над омутом, искра из костра и даже сама тишина. Здесь домовый учит кота беречь избу, леший спорит с Ягой о ладе, а купеческая дочь торгуется с бесами за своё счастье. «Ведьмины сказки» — это не просто сборник быличек и преданий. Это древняя карта невидимой местности, где каждое слово — поступок, а каждая тропинка ведёт к истокам рода. Слушайте. Смотрите. Отвечайте. И вы войдёте в тот лад, где человек, не теряя себя, становится частью большего, а боги, нечисть и звери — соседями по общему дому, имя которому — мир.

© Wotson K., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Начало	6
Славянский фольклор	10
Сказки, былички да бывальщины	11
Домовой и кот	11
Быличка про Банника	14
Быличка про лешего и ведьму	17
Быличка про ссору водяного, кикиморы и мельника	20
Бывальщина про ведьму поветуху	23
Купеческая дочь и Вурдалак	26
Быличка Поп и Покойники	29
Избушка Ягини	32
Спор Ягини и Змей горыныча	35
Как Ягиня приворожить Кощея пыталась	38
Бывальщина про ведьму плачею	42
Как Алеша у медведя крал	45
Как ведьма дочь замуж выдавала	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Kerelinda Wotson

Славянский фольклор

Начало

Прежде чем ты углубишься в эти страницы, позволь пригласить тебя в пространство, где слово – не просто звук, а древняя тропа, по которой веками ходили люди и тени, звери и боги, ветер и огонь. Это предисловие – мост. По одну сторону – привычная реальность, в которой всё измеряется временем и логикой. По другую – славянский мир преданий, сказаний и былин, где всё может быть живым: кривая ива над омутом, белая кобылица в тумане, искра из костра, полночная звезда, и даже сама тишина, если прислушаться к ней правильно.

Здесь нет случайностей. Каждый образ, каждая тропинка, каждый отзвук человеческого голоса имеет силу: окликнуть, призвать, отвратить, утешить, предупредить. Славянские сказки и былины – это не просто ленты повествований, которыми развлекают у огня. Это обряд, заклятие, карта невидимой местности, где равновесие важно не меньше, чем хлеб на столе. В этих историях человек не отделён от мира иного огромной стеной. Напротив, он живёт на границе, где шаг вправо – в житейскую повседневность, шаг влево – к загадочным соседям: небесным богам, лесной нечисти, речным хранителям, зверям, понимающим язык людей, и духам, что помнят дыхание первозари.

Почему эти сказания переживают века? Потому что они объясняют самое упрямое – наши страхи и надежды, наши правила и исключения. В них живёт древняя педагогика: как не стать гордецом и не навлечь беду, как отдать должное, чтобы получить в ответ, как различить зов, который тебе предназначен, от зова, что уведёт в болото. Славянская традиция не видит в мире жёсткого разрыва между «тут» и «там». Она говорит: простирай ладонь осторожно, но смело. Богам – почёт и мерная речь. Нечисти – знания и границы. Животным – уважение к их собственным законам. Земле – благодарность.

В этой книге ты встретишь разные голоса. Одни звучат из глубинных былин, где тяжёлый меч поётся вместе с судьбой, и каждый подвиг – это не столько победа, сколько договор с миром о праве стоять на этой земле. Другие – из светлых сказок, где наивность ребёнка открывает тайные двери, а случайная запинка в слове вдруг становится ключом. Третьи – из страшных историй, распутывающих хитрые нити ночи. Но все они связаны незримой нитью – представлением о взаимодействии. Человек для славянского мира – не властелин и не пленник, а участник узора, сосед среди соседей, что умеют говорить и молчать, требовать и одаривать.

Спросите: где начинается эта вязь? Ответ, как ни странно, часто звучит в колыбельной. Славянские колыбельные – не только сонная музыка, но и первый урок мироустройства. Материнский голос, пластичный и мягкий, вырисовывает границы дома, окликает хранителей, созывает доброе и отводит недоброе. В них слышно шуршание пола и скрип лавки, дыхание печи и шёпот потёмков. Колыбельные в старину – своеобразная магия речи: не просто убаюкать ребёнка, а укутать его миром, где всё на своих местах. Вот почему в них упоминают и кота-воркотуна, что сторожит сон, и Ладо, и добрых помощников, и даже «баю-баюшки-бай» – не бессмысленный лепет, а звучание древних слов, что умиляют и оберегают.

Колыбельная – это первая договоренность семьи с миром духов. Пока младенец ещё помнит холодную светлую тишину до рождения и легко слышит то, что взрослые успели забыть, мама или бабка мягко говорит за него. Она обещает: мы почтим огонь, не забудем воду, будем приветливы к лесу, поставим хлеб на подоконник – не для голодного воробья, а для того невидимого гостя, который обходит дом по ночам, проверяя, тёплые ли сердца. В этих песнях объясняется, что наш ребёнок – отныне свой, его оберегает семья, род, покровители. И в то же время – его слышат и видят те, кого мы называем «иной стороной». Колыбельные нужны были, чтобы связать колыбель с миром, как узелок на платке связывает память: против дурного глаза,

к доброму сну, к благой доле, к правильному ходу дней. Они обучали ребёнка жить в мире, где каждое существо имеет имя и смысл.

Сказки и былины вырастают из колыбельных, как дерево из семени. Сначала – основа: уверенность, что мир разговаривает. Потом – истории, в которых вскрываются их правила. Здесь бог может явиться не как грозный громовержец, а как прохожий, попросивший краюху хлеба. Здесь нечисть – не всегда враг, но всегда иной, требующий точного слова, соблюдения старины, умения слушать. Здесь зверь – не «дикое», а сосед, чьим путём иногда приходится пройти, чтобы выйти к своей судьбе. Кто уважит волка, не назовёт его пустым зверем; кто поймёт речь журавля, тому откроется направление ветров; кто договорится с домовым, в том доме не будет пустых ночей.

Взаимодействие в этих историях всегда двухстороннее. Нельзя взять и не дать. Нельзя спросить и не выслушать ответ, даже если он приходит не словами. Справедливость в славянском сознании – это не ряд строгих законов, а равновесие, которое удерживают через песни, подношения, обеты, обряды и поступки. Герой, который идёт к реке, приносит реке речь – чистую, как вода. Герой, который входит в лес, несёт лесу тишину и уважение. Герой, что обращается к богам, делает это с мерой и честью. И каждый раз он получает не просто помощь, а право прохода, право спрашивать дальше.

Вы заметите: в сказках почти нет окончательного «теперь всё навсегда». Славянский мир цикличен, как смена времён, как круговорот праздников, как путь от посева к жатве и обратно. Каждый подвиг требует подтверждения, каждый договор – обновления. Успех не закрепляют раз и навсегда печатью; его держат живыми связями. Поэтому герои часто возвращаются, ведь к одному и тому же месту можно прийти иначе – с новым пониманием. Поэтому и злое не уничтожают, а обуздывают, связывают, отсылают «куда ворон костей не заносит» – подальше от человеческого порога, но не из мира вовсе. Зло – не абсолют, а нарушение равновесия, и задача героя – не сжечь, а восстановить.

В этой книге вы услышите, как герои обращаются к богам. Их речи – не мольбы без меры и не требовательные приказы. Это обращения, в которых звучит память рода, честь, скромность. Боги – не бесконечно далёкие, а вовлечённые в ход дел: им несут первые плоды, им посвящают победы. Но в каждом таком обращении есть понимание меры: не просить невозможного, не требовать без отдачи, не забывать обеты. История учит, что слово, сказанное «вверх», отзывается «вниз» в делах твоих. И если ты получил дар, то держи его так, чтобы честь твоя не проржавела.

Вы услышите и иной голос – скрипучий, смешливый, хитрый. Это голос нечисти, живущей не в аду, а в складках мира: в омуте, в густом лесу, на перекрёстке. Она не терпит грубости и любит небрежность – потому герой, что идёт в ночь, держит себя в узде. Здесь важно, где ты ступаешь, как ставишь ногу, где опускаешь глаз, когда говоришь «здрав будь». Нечисть – это материал испытаний, лакмус человеческой меры. Она пугает, но и обучает. Кто пройдёт мимо, плюнув через плечо и хохоча, тот сойдёт и потеряется. Кто пройдёт с вниманием, тот вынесет урок и получит ход к своей цели.

Не ищите здесь холодной «мифологии» как набора справочных сведений. Это не каталог богов и не энциклопедия чудищ. Это повествования, в которых живёт практическая мудрость – как не ломаться под ветром, как согреться чужим огнём и не обжечься, как слушать так, чтобы слышать, и молчать так, чтобы слово не потускнело. Это тексты, в которых встреча с иным – не экзотика, а испытание меры, и в которых победа – это лад, а не трофей.

Если вы читаете вслух, позвольте словам лечь на язык, как зерно на ладонь. Не торопитесь. Здесь важны паузы. Иногда смысл живёт в тишине между фразами, как домовая живёт в щели между бревнами. Если читаете про себя, всё равно слушайте. Это книги, которые звучат. И если вы поймаете момент, когда звук станет вашим, истории начнут раскрываться – один

образ к другому, один знак к другому, как будто кто-то ведёт вас по заранее намеченной тропинке.

И, наконец, примите простое предупреждение: эти сказания не терпят равнодушия. Они не раскрываются тому, кто пришёл посчитать, разложить по полочкам и уйти. Им нужно ваше внимание и ваша готовность вступить в разговор. В этом, может быть, и есть главная тайна взаимодействия людей и богов, нечести, животных: не властвовать, не подчиняться, а слышать и откликаться. Древний мир был устроен как бесконечная переключка: позывной, ответ, пауза, снова позывной. Мы можем вернуться к этому ритму – через историю, через песню, через внутреннюю тишину. И пусть первая нота этой книги будет как первая нота колыбельной: мягкая, тёплая, надёжная. Баю-баюшки-бай – не к концу, а к началу пути.

Пусть эта книга станет для вас не столько путеводителем, сколько собеседником. Пусть она напомнит, что мир – не пустой зал, а хоровод, в котором каждый шаг имеет отзвук. И если вы спросите у ночи, где дорога, ответ может прийти не громом, а шёпотом – из старой песни, которую когда-то пели над вашей колыбелью. Слушайте. Смотрите. Отвечайте. И вы войдёте в тот лад, где человек, не теряя себя, становится частью большего, а боги, нечисть и звери – не страшилками и не абстракциями, а соседями по общему дому, имя которому – мир.



Славянский фольклор

– Жили-были... В некотором царстве, в некотором государстве... Нет не то. Было это когда-то, при стародавних временах... – Громкий хриплый вздох мужчины – Я столько сказок уже тебе рассказал, даже не знаю, как начать.

– А что кроме сказок больше ничего не существует? В книгах же есть жанры, неужели тут ничего нет? – в комнате раздается ответное детское лепетание – А давай спросим у мамы, она то точно знает.

По коридору раздаются приближающиеся женские шаги, в комнату распахивается дверь и проникает запах теплого молока с медом. Женская фигура подходит к кровати, протягивает девочке стакан молока и усаживается на край кровати между дочкой и мужем, сидевшем в кресле.

– Конечно знаю и тебе расскажу, и читателям поведаю – произнес мягкий женский голос. – В свое время кого я только не встречала на своем пути были и простые сказочники, и быличники, и бывальщичики. Много я у них знавала, так всего и не вспомнить. Бывальщичики сказывали о том, что у них на селе происходило, да пересказывали истории из других сел и не только. Быличники – о встрече с нечестью говорили, знали кто и в каком селе лицом к лицу с нечистой столкнулся. Сейчас я расскажу тебе, что мне поведали.

Сказки, былички да бывальщины

Домовой и кот



В деревне, где лес шептал «се бо есть тайна¹», жил в старой избе домовой – дедич невидимый, бородушка мхом, глаза уголья. Хозяев он берег исправно: печь плавно дышала, каша не прикипала, половицы сами вздыхали тихо. И был у хозяев рыжик чудо кот – огнём залит, усы вразваль, глаза янтарные. Кота звали Рыжевлас, а домового меж собой – Дед-Клечик.

Ночью, когда «тьма тьм²», домовой обход держит, печному духу шепчет: «мира-мир», а кот по лавкам – хвостом да тенью. И вот однажды по осени, когда лист «падше, як³ слёзы»,

¹ «се бо есть тайна» – везде есть тайна

² «тьма тьм» – очень темно (тьма тьмущая)

³ «як» – как

забродила в избе печальная тень: некто извне стал посудой звякать да соль пересыпать. Домовой прищурился, кот насторожил уши.

– Слышь, котище-огневик, – молвил Дед-Клечик. – Не добра сень. Не наш ходит.

– Мр-р, – ответил Рыжевлас. – Вижу, вижу. Шуршит, як мышь, а пахнет болотиной.

Домовой поднял ухват, да не ударил – «несть во вражду без меры». Вышел на середину избы, в угол красный поклонился⁴: «мир дому и вечна память предкам». Кот лег в колесо на пороге, хвост кольцом, глаза – лампадки.

И в тот миг из щели меж полом и порогом протиснулась тень – худющая, длинноногая, с пальчиками как ветви берёзовые. Нечисть болотная, Липун-тягун. Он шепчет: «дайте тепла, да хлеба, да соль без платы». А сам зыркает – унести огонёк из печи, чтоб в хляби тащить.

Домовой тихо: «аще⁵ гость – сиди честно; аще вор – ступай вон». Липун хихикнул, рванулся к устью печному. Но кот, как искра, вспыхнул, пересёк путь, спину дугой, шерсть в гриву.

– Шшш, – прошипел Рыжевлас. – Се дом не твой, тень болотная. Тут хлеб – с солью, но с правдой.

Липун зашуршал, лапы вытянул: «Тепла хочу! Зимею стыну!» Домовой на то: «несть тепла без труда, несть хлеба без благодарения». И кивнул коту.

Кот, не царапая, обошёл его кругом трижды: раз – против солнца, два – по солнцу, третий – на месте: хвостом провел по полу, как кистью – нарисовал круг. Домовой в круг положил три зерна ржи да щепоть соли: «во имя хлеба, во имя мира, во имя рода».

Липун замедлил, взгляд зацепился, глаза его заблестели жадно. Тянется – а круг не пускает. Слово старо держит: «да не перейдёт злое меж хлебом и солью». Он завыл тонко, как ветер в щелях: «Разрешши, дедыч!»

– Судися по правде, – молвил домовый. – Скажи, что принёс.

Липун замялся, потом достал из тени своей веточку вербы да раковину засохшую. «Се – память воды», – прошептал.

Домовой смягчился. «Память – дело добро. Но с мхом твоим – сыр да плесень. Не хочу в избе болота». И шепнул древним словом: «иди ж в мир лесной, к родичам своим. В избе – тепло людское, а тебе – вольный ветер и зябь своя». Кот добавил: «Ежели голод – мышь лови, не огонь кради».

Липун зашипел, но не зло – боязно. Кот моргнул левым глазом: знак охотничий. Домовой бросил в круг горсть высевок: «на дорогу». Круг разомкнулся, и тень, прихватив вербу да раковину, попятилась к порогу. Но прежде чем уйти, обернулась:

– Кто вас бережёт?

Ответил домовый: «род и обычай». Кот тихо мяукнул: «и клык с когтем, когда надобно».

Тень исчезла, «яко дым». Печь вздохнула ровно, огоньчик стал весел. Домовой снял ухват, поставил к стене, снял с полки крошку сахара – гостинец коту.

– Благодарствую, дедыч, – мурлыкнул Рыжевлас, разложившись на тёплой глине. – Дай бог день добрый.

– Не клич высоко, – улыбнулся невидимый. – Скажи лучше: «аще будет воля». И береги красный угол; я – печь и пол.

С той ночи кот да домовый стали товарищи по тихому делу. Кот ловил мышей честно, «яко должно», и ни крошки с печи без спросу. Домовой же гладил его невидимой ладонью, когда ветер хлестал по крыше. Иногда Рыжевлас вскакивал ни с того ни с сего и носился кругами – то домовый игры затевал, гонял пылевых духов.

Шёл год своим кругом. Весной, когда капля «плачет и смеётся», домовый вынёс на порог веник – «обнову дому». Кот принёс в зубах травинку зверобоя – «от уроков». Летом они слу-

⁴ «угол красный» – место с иконами

⁵ «аще» – если

шали, как ночью «травя глаголет», и знали: добро ходит мягко, зло – косо. Осенью, в дожди, домовый прокладывал сухие дорожки в сенях, кот шагнул по ним, как по мосткам, не моча лап. Зимой, в святки, домовый шептал «тише по углам», кот не мяукал зря: «не тревожить предков».

А однажды в метель, когда «несть пути на пядь⁶», в дверь постучал поздний путник. Хозяин уже было заперся, да кот вдруг сел у порога и жалобно сказал: «мр-оу», шибанул хвостом по щеколде. Домовой кивнул: «отвори; гость Божий». Путник вошёл, отогрелся, хлеба куснул, сказ ему рассказал – как на болоте видел светлячий огонь, да не пошёл за ним. Домовой улыбнулся в усы мховые: «мудро. Не всяк огонь – к людям».

Путник, уходя, оставил в благодарность маленький колокольчик. Привязали его у двери. С тех пор, когда чужое ползло к избе, колокольчик «тинь» – и кот сразу настороже, домовый – на пороге, слово старо – на языке. И шли годы, пока люди не старились, а изба всё жила, как живая: печь дышит, пол ровен, хлеб в меру, и «мир дому» стоит.

И если зайдёшь ты в такую избу, прислушайся: в тепле печном мурчит кот рыжий, а в полумраке углов шевелится мягкая тень – не бойся, то домовый на страже. Скажи: «мир тебе и дому», положи щепоть соли да крошку хлеба. И услышишь в ответ тихое, старое: «аще с миром вошёл – с миром и сядь». А кот ткнётся носом, и будет тебе тепло, «яко под крылом».

⁶ «несть пути на пядь» – нет пути ни на пядь «пядь» – мера длины, ладонь

Быличка про Банника



Глаголю⁷ вам, братие и сестры, быличку о баннике добром, да не простом, а ветхим, как колода банная, и тихим, яко пар под сволоком. Было то в деревне нашей, у леса тёмного, где ель скрипит, а колодец шепчет. Стояла банька на окраине: тесовая, обручами опоясана, двери низкие, порог высокий – «аще перешёл, оставь тревоги». И ходил туда люд всякий: крестьянин потный да ткачиха усталая, старцы, младенцы, путники дорожные. Иные говорили тихо: «там банник клубится», – и крестили плечо, да всё равно шли, «ибо баня – мати⁸ чистоты».

Сказывали отцы и деды: живёт в той баньке банник, седобровый, кожей веники шуршит, бородою пар меряет. Не злой он, «аще с поклоном», не суровый, «аще по чину». Любит, чтобы входили с добрым словом, оставляли на лавочке щепоть соли, да на полоче – крошку хлеба: «мир дому и хозяину». И будет тогда пар мягок, «яко мёд тёплый», и вода ласкова, «яко ладонь матушки».

⁷ «глаголю» -говорю, рассказываю

⁸ «мати» – место

Мне же, рабу грешному, довелось с банником свидетися. Был я тогда по весне, весь в грязи пашенной, кости ломит, спина ноет. Пришёл к баньке поздно, звезда ещё не взошла, только зарница на вёдрах дрожит. Отворил дверь, вошёл, кивнул в угол: «мир тебе, дедушка банник». Положил на лаву соль горсть, на полоч хлебца. Затопил, воды поддал, сел на край, жду, куда камни заговорят.

И тут, слышу, по стене бег – не мышь то и не куница, а будто ладонь малый постучит: тук-тук, тук-тук, и затихнет. Пар поднялся сизый, душистый: берёзой пахнет, зверобоем да мятой лесной. Я черпнул ковшичек, полил каменку – «шшш», и пар ко мне, как соболь, мягкий, обволакивает. И голос тогда тонок, стар, но добр, из угла, где веники сушатся: «аще с миром пришёл – сядь ближе, костям твоим полегчает».

Сердце моё ёкнуло, да страх прошёл, будто сняли шубу мокрую. Говорю слова смиренные: «благодарствую, дедушка». И слышу – поскребёт кто-то веником по полу, ровно мусор собирает. И вдруг захрустят камни весело, жар будто умный стал: не жжёт, а лечит. Сел я на полоч, расправил спину, банник пар подаёт ладно: раз – теплёт, два – жарит, три – отступает, да опять мягко, «яко крыло». И так в такт сердцу моему, пока боль отползла в щели.

Сказываю далее. На третью подачу шепчет банник: «не спеши, мужичок, старые обиды выпаривай, злые мысли выплесни». Я ковш на пол – плеск, и словно с водою чёрнота уходит. Внезапъ вижу меж паром тень невеликая: будто дедок седой, с бородой мокрой, глаза – угольки под золою. Не страшен, нет: смеётся глазами и кивком велит – мол, ложись животом. Я послушался, лег, а он веником берёзовым шёпотом прошуршал: «во здравие», и яко рука лёгкая, «боль из костей вытяну». Стоны мои утихли, дыхание ровно, мысли чисты.

А за стеной в то время вьюга родилась – ведь весна капризна: то дождь, то снег. И заскреблась в щели сырость холодная. Я уж подумал – простужусь, да банник ладонью по стене «тук-тук», и тёплый пар плотнее стал, заслонил щели, «яко шуба овечья». Шепчет: «не бойся, дом держу». И правда: сухо, тепло, по полку как по солнечному лучу идёшь, ногам радость.

Было мне чудно. Спрашиваю спустя малость: «дедушка, отчего иной раз сердит ты бываешь на людей?» Отвечает неторопко, как вода в лохани переливается: «аще войдут без чести – шапок не снимут, слово не скажут, хулу поведут да в пар моего с грязью лезут – тогда сержусь. Не люблю крика, не терплю блуда, устав мой прост: чисто входи, чисто выходи, не бранись, не хвастай. И да будет мир бане». И вздох такой, что веники на жерди качнулись.

Потом поведал мне банник и про тайну банную. «Есть, – глаголет, – у пара дверь невидимая, меж камнем и паром, меж дыханием и тишиной. Аще человек сердцем светёл, молитву шепчет да людей добром поминает – пройдёт к дверце сей и вернётся легче. Аще же злостью дышит – заблудится в собственном чаде». Я слушал, да в сердце зарубку сделал: «не гневом топиться, а добром париться».

Когда же настал час уходить, банник тихо хохотнул, «яко вода под ковшом». Говорит: «остави веничек свежий, детей своих с добрым словом приводи, да не по ночи – ночь моя. Днесь отпускаю тебе боль и тоску». И правда: лёг я на лавку, словно в поле на сене: ни ломоты, ни гнёта, голова ясна, руки мягкие. Вышел я в ночь – а звёзды уж горят, иней на пороге искрит, да тепло из двери тянется, «яко дыхание доброго коня».

С тех пор я всяк раз, как в баню иду, кланяюсь низко: «мир тебе, дедушка банник, хозяин жаркий». Кладу соль щепоть, крошку хлеба, иногда – каплю мёду на камень. Пар тогда сладит, «яко песнь тихая», и дом наш не болит. Соседям пою сказы: «не злите банника, почитайте его по чину – и будет в доме здравие». Иные смеются, а иные кивают, и у тех в бане пар добрый живёт.

А кто не верует, тем скажу последним словом: зайдёте вы как-нибудь по осени, когда лист опадает и ветры воют. Отворите дверь, а оттуда – тепло, да пахнет сеном и лесом, да послышится «тук-тук» в уголке. Не пугайтесь, то банник добрый спрашивает: «аще с миром?» Ответьте: «с миром», положите соль да хлеб, посидите молча. И услышите тогда, как пар ваш

шепчет старое: «очистися и оживися». И выйдете – и будто на свет заново родились, «яко младенец крещёный», с сердцем лёгким и взглядом ясным. Тако есть, тако и буди.

Быличка про лешего и ведьму



Говорят у нас в Лесной слободе: не ходи вчаще да не поминай лешего всеу, ибо «аще призовеши – явится». А была одна история, что мне баба Марфа перед долгой зимой поведала, «яко истинно во очах сведущих⁹», и глаголала она тихо, чтоб ветер не унес.

Жила тогда в краю нашем молодая ведьма, рыжеволосая, коса огнём пылает, глаза зелёные, как весенний хмель. Звали её Милана. Не злую силу держала, но травы знала и слово целебное, людям помогала: кому узел боли развяжет, кому сон вернёт. Только была она, «яко росток недорослый», ещё в науке новой, без оберегов крепких. А это, ведайте, лес любит: кто не укреплён, того лес «искушает и испытывает».

Случилось так, что на Петров день пошла Милана в глушь за корнем змиевым да за мхом стяжным. День выдался тихий, жар редкими нитями падал в просеку, птицы щебетали, а лес будто дремал. «Сказаша старцы: не входи в тишину без благословения», – да кто ж молодую кровь удержит? Вступила она в хмурый бор, переступила корень-исток, да и позабыла дорогу,

⁹ «яко истинно во очах сведущих» – как своими глазами видела

«яко дым пред ветром». Куда ни глянет – тускло, куда ни ступит – треск сучьев, а тропы, что были, пропали.

И словно из-под мха голос пошёл – не шёпот, не рык, а тонкий смех, что ухо щекочет и сердце студит. «Ко мне, младая, ко мне, красная, пряди косу свою меж ветвями, сядем-побеседуем, аще не страшишься». Поняла Милана: леший игрок зашептал, хозяин тёмный, злой вольный. Вспомнила слова наставницы своей, старой Златавы: «Аще леший зовёт – молчи и гляди под ноги. Не спорь с ним, не смейся, не отвечай. Плюнь через левое плечо, да узел на поясе тронь». Плюнула, узел тронула, да только узел был с ниткой новой, не освящённой. Смех стал ближе, «яко тростник над ухом».

Из мрака выступил он: высокий, костлявый, волос на нём мохом с чёрной росой, глаза – дупла пустые, в глубине их зелёный огонь тлеет. Копыто одно, ступня другая, да пальцы длинные, как корни, «крючеваты и студены». И лес вокруг повёлся: ель согнулась, берёза щекою по плечу провела, папоротник раскрылся и закрылся, будто глаз. «Ой ты, рыжа, – глаголет леший, – огнём косу себе выжгла, а сердца не грела. Зачем в мои чертоги пришла, аще не звана? Давным-давно жду, кто тропу забудет, чтоб забавиться. Побудешь у меня до купалы, а там решу: или в сук зелёный обращу, или голос твой в филина вшыю».

Милана стянула платок к краю лба, чтоб не видать дрожь. «Се я пришла за корнем, не за бедой, – молвит она шёпотом. – Отпусти, хозяин, а я тебе дар принесу: соль горькую, хлеб белый, мёд густой». Леший засмеялся, «яко дерево треснуло»: «Соль мне что? Хлеб мне что? В моём краю соль – слёзы, хлеб – труха, мёд – смола. Дай мне иную дань: дай мне имя своё истинное, рыжая».

А имя истинное ведьме «яко сердце в груди»: отдашь – и пропала. Знала она, знала, да страх, «яко мутная вода», залез под ребро. Вспомнила тогда «глагол древний»: «Не имя имя есть, но тень его», и назвалась иначе: «Зовут меня Ластовицею». Леший фыркнул: «Лжешь, огонь-трава. Имя твоё пахнет ромашкой и золой, а “Ластовица” пахнет небом». Поманил рукой, и дорожка под её ногами свернулась, «яко уж», и повела в чашу спиралью.

Шла она – и день стал вечер, вечер – ночь, а ночь не кончается. Светляки вспыхивают – и гаснут, звёзды видятся – и нет их. Сердце у ведьмы тук-тук, дыхание – пар горький. Леший рядом идёт, не шелохнётся, только шёпот около уха: «Оставь огонь, оставь травы, останься ветром под корой. Будешь петь мне на корни, будешь греть мне грибы. Аще противися – заблуждешь навеки».

И тут вспомнила Милана о пряди своей, рыжей, что «яко заря». Старые бабы учат: «Возьми волос огненный, свей с полынью да с девясилом, да свистни на запад – и явится тропка к краю». Пошарила рукою в запоне – есть пучок полыни, сухой, горький. Выдрала волос из косы, кровь у корня горячая, смешала с травой, шепчет: «Встани, тропа, возвернись, яко была. От мрака сохрани, от лешего утай. Аминь древний». Свистнула тихо на запад, «яко скворец».

Лес повернулся. Не так, чтоб сразу, но «яко коло водяное» – кругом пошли тени, заколыхались ветви, и на миг меж ёлок блеснула полоска бледного света, будто рассвет невидимый. Леший притих, а потом заревел, «яко буря в пне»: «Ай-ай, хитра! Полынью смрадной мне дыхнула! Не уйдёшь!» И пальцы-корни его тянутся, липнут к подолу, к щиколотке, к косе.

Милана не кричит – «глас её связася¹⁰», да в сердце поднялась молитва не церковная, а лесная: «Мать-берёза белая, сляко ты добра и тиха, покрой меня корой своей; Отец-огонь печной, согрей стезю; Вода ключевая, омой страх». И, «яко чудо малое», берёза рядом застучала листьями, согнулась, белым плечом заслонила, а из-под корня её тонкой струйкой ударила вода. Леший зарыдал злобно, отступил на шаг, «яко зверь обожжённый».

Тут бы ей бежать, да лес всё одно путает. Уразумела ведьма: сила леса – не только злость лешего, сила леса – и милость в нём. «Аще почтёшь – отпустит». Сняла она с шеи оберег

¹⁰ «глас её связася» – она онемела

медный – круг с чертой, что бабка ей дала: «на межи надевати». Протянула к берёзе: «Прими, матушка, память мою и стережи мои следы». Кольцо звякнуло, берёза тихо застонала «яко флейта», и полоска света стала тропой, узкой, но верной.

Леший рванулся, земля под ним вздыбилась, мох взошёл чёрным дымом, птицы враз умолкли. «Стой, рыжа! Имя оставь! Имя твоё!» – а Милана шепчет, не оглядываясь: «Имя моё – у огня, у печи, у людей. Тебе – тень». И кинула назад свою тень: ступила правой – тень левой шагнула, она – в свет, тень – в мрак. Леший ухватил тень, «яко тряпицу», захохотал, а в руках – пусто, холод. Разъярился пуще прежнего.

Бежала ведьма тропой, а тропа «яко нитка красная», тянется к опушке. Ветер в лицо – тёплый, пахнет дымом человеческим, хлебом. Сзади – шаги, не шаги, а вал лесной. И вот уж свет ярче, травы ниже, сосны редееют. Выскочила она на залесок, упала на колени – земля горячая, поле родное. Обернулась – а на кромке стоит леший, рост – до тучи, глаза – голодные, но ступить не может: межа, да межа «освященна хлебным духом». Шипит: «Вернись, рыжа. Не уйдёшь без платы». А она, отдышавшись, подняла ладонь, на которой кровь от выдрванного волоса. «Вот моя плата – капля моя. Остальное – не твоё». И каплю ту уронила на порог земли, «яко жертву малую».

Леший зарычал, но отступил, осел, «яко пень трухлявый», и растворился в полуденном мареве. А Милана поднялась, косу перевязала, пошла к людям, «яко возвращена». На третий день принесли ей из лесу мальчишки оберег её медный: нашли под берёзой, что будто бы светила ночью «яко свеча белая». Надела она его обратно, но с той поры всегда брала с собой соль щепоть да хлеб кусочек, а в карман – полынь перевязанную настоящей ниткой, освящённой на заре.

С тех пор рассказывают в слободе: «Аще рыжая ведьма идёт в лес – леший ворчит, да дорогу ей под ноги сам стелет, не любовь, а страх хитрости её». А в тёмные вечера, когда ветер свищет и в трубе гудит, слышно порой из-за межи: «Имя... имя...» – да не имя ему, а тень. И кто спросит у Миланы, правда ли было, та лишь усмехнётся, «яко заря в туче», да скажет тихо: «Не злите лес. Почитайте его “по чину и по праву”, и он отпустит. Аще заблудитесь – помните: огонь в волосе и дорога в сердце». Тако есть, тако и буди.

Быличка про ссору водяного, кикиморы и мельника



В нашей слободе, что на речке Узнице живёт водяной лютый, злой «яко зверь лесной», а при болоте, под ольхами чёрными, кикимора, обиженная, шипит ночами, «яко трава сухая под ветром». И было у нас мельничье колесо, новёхонькое, да мельник при нём – парень молодой, неопытный, по имени Макар. От отца ему досталась мельница, да не досталась мудрость: «аще не ведаешь – не трогай¹¹». А он – в ночь тронул.

Пошёл Макар в первый вечер воды прибавить, плотины заслон перестроить, чтоб зерно скорее мололось. А старики ему: «Не смей в полночь к воде ходить, не буди водяного, не трогай его чины». А он, сердцем горяч, «яко уголь в очаге», да умом ветрен, смеётся: «Вода – что верёвка: куда тянуть – туда и ляжет». Взял колоды, забил клинья, опустил засов. И тут «яко туча сгустилась» – тишина, и только круги по чёрной глади. «Ой, горе мне», – подумал было, да поздно.

¹¹ «аще не ведаешь- не трогай» – если не знаешь – не трогай

В ту же ночь заскрипела мельница так, будто зубы у старой бабы, и жернова загудели «яко громы далёкие». Зерно стало идти с шелухой, а мука – комками. А под порогом кто-то тонко хихикнул и зарыдал, «яко дитя невпору»: то кикимора болотная пришла, вянущая, обиженная. Её, говорят, два года назад хозяйка из избы выжила, соли во все углы насыпала да прялку с молитвой вынесла. С тех пор кикимора где ни приживётся – везде гонят, «яко дым из хаты». И вот припала к срубу мельничному, ноготками стучит: «Пусти, мил милёночек, приюти меня, дам тебе тихость и ладность, аще слова мои послушаешь». А Макар – крест не перекрестил, головы не прикрыл, лишь буркнул: «Ступай, нечисть, мне тут твоих слёз не надо». И плюнул на порог, «яко гордых научили».

С того часа пошло великое неладье. Салом опоясанные оси скрипят, ремни рвутся, плотина свищет. Ночью, ближе к полуночи, признаётся Макар, слышит он под колесом плеск тяжёлый, «яко бык в омуте», и голос густой, мшистый: «Чужие руки на моей воде, имя дай, семя отдай». Макар стынет, «яко лед на Сретение¹²», а муку не выдаёт, хозяйскому заказу не поспевает. Мужики морщатся, бабы шепчут: «Не по чину сделал парень, не по праву».

На третий день пришла к нему старуха Ульяна, что помнит ещё «аз и буки» и травы знает. Сказала: «Сынку, грех ты сделал. Водяному честь не воздал, кикимору обидел. На воде – закон: «каждому – своё и по долгу». Испроси мир, дай плату, и отступит». А он гордо: «Не стану нечисти кланяться». Старуха вздохнула: «Не кланяйся нечисти – кланяйся порядку. Тако есть».

Ночью четвёртой вода поднялась без ветра, «яко чаша перелилась». Колесо завертелось само, жернова застонали. Вошёл в мельницу Макар, свечу держит, а свет её «яко нитка тонкая», да и та гаснет. На пороге – мокрая тень, длинная, с бородой тиной обвитой, глаза «яко стекло речное». Водяной. Шапка у него из лопушин, плечи зелёною скользкой переливаются. Голосом гулким молвил: «Чью воду взял, тому и поклонись. Чей омут перегораживал, тому и отдай». Макар, дрожью взятый, шепчет: «Что тебе надо?» Тот: «Имя моё на плотине вырежи да по осени первый мешок муки в омут свали. Аще не сотворишь – потяну под корень». И ткнул перстом в пол: оттуда вода тонкой змейкой поползла, «яко письмо написала»: ВОДЫ ХОЗЯЙ.

В то ж мгновение, из-под лавки – шарканье: кикимора, мокрая, космы в репьях, глазки «яко бусины чёрные». Шепчет: «А мне – местечко сухое да прялка старая. Обидел ты меня, не по праву. Испроси прощение, сим тебе тихость будет». Макар горло сглотнул, «яко ком горячий», да говорит: «Простите, старшие. Уму-разуму не научен был. По чину сделаю». И опустил на колени: «Тако молю: не губите».

На утро побежал к плотине, взял ножик отцов, вырезал на брус: «Хозяин воды, принимай плату». Снял первый свежий мешок муки – белой, «яко снег на Рождество», – данью в омут низвергнул. Вода приняла, вздохнула, круги пошли ровные, «яко ткань льняная». Вечером же Ульяна принесла ему прялку древнюю, сучком перевитую: «Сей кикимориной будет. Посоли порог, но углы ей оставь, не гоняй». Макар поставил прялку у печурки, на лавку – сухую тряпицу, пониже окна – мисочку молока. И прошептал: «Прости, хозяйюшка болотная, сиди да жди, а мне – тихость даруй».

С той поры пошло ладно. Колесо крутится «яко солнце над нивой», скрип утих, мука мягка, хлеб у людей вкусен. По ночам водяной лишь гулом переговаривается, «яко колокол в тумане», да плеснёт ладонью по воде – и тишина. А кикимора в углу шуршит ровно, нити переглаживает: кто под утро войдёт, увидит – клубок аккуратно намотан, «яко круг небесный». Только Макар запомнил: по пятницам не трогать заслонов, по полудни не свистеть у воды, не ругаться, не плевать на порог. И всегда первый мешок по осени – в омут.

И всё бы сладко, да однажды пришёл купчина из города, глаз бритвой, язык жалом: «Зачем муку хорошую в воду кидаешь, дурень? На том серебро теряешь». Замутился Макар,

¹² «яко лед на Сретение» – как лед на морозе

«яко вода от ветра», съёжился, решил скупость попробовать. Осенью той мешок в омут не пошёл. Ночью же ветер с севера, туман «яко вата», и слышит Макар, будто кто-то ногтями по бревну: крек-крек, да вздох, да голос знакомый, но злой: «Долг забыл, имя стереть хочешь?» Вышел – а на брусѣ резбѣ разбухла, буквы «яко рыбы мѣртвые» белеют. В омутѣ – глазницы стеклянные, борода всплыла и утонула. И по углам – кикимора всхлипывает: «Обиды не терплю, уйду».

В ту же ночь сорвалась ось, колесо закусилѣ, вода хлынула, «яко стадо поскакало». Макар кинулся, да ноги подломились. И понял он, «яко озарение», что не серебром меряется мир, а мерой старою: «по чину и по праву». Побежал к амбару, достал лучший мешок, да не один – два. Пришѣл к омуту, снял шапку, опустилѣ на колени: «Хозяин воды, прими плату удвоенную, за гордыню мою – вину мою». Бросил мешки – ушли, и вода пригладилѣсь, «яко волос девичий». Возвратился в мельницу – а в углу тихо: кикимора прядѣт, не плачет. Он поставил ей мисочку свежего молока и медку ложку: «Прости, матушка». Та шмыгнула носом, «яко мышка в зерне», да и унялась.

С тех пор у Макара всё по ряду идѣт. Вырезь на брусѣ он обновляет каждый Спас, соль в углах бережѣт, на болото не ругается, аще услышит в полночь плеск – перекрестится да скажет: «Честь тебе, хозяин». И дети наши слушают эту быличку зимними вечерами, когда печь гуласто дышит, а за окном «яко млечный путь» снег стелется. Запомнит кто – не согрешит. Ибо в воде – закон древний, в доме – лад нужный. Тако было, тако есть и тако буди.

Бывальщина про ведьму поветуху



Старики говорят, а яко сам слышал от деда, что в наших местах жила поветуха-ведьма, прозывалась Домна-Матерь. Не молода, не стара – «яко осень поздняя»: в косах иней серебрист, в очах – заря утренняя. Ходила она без стука и без спроса, где нужно было, там и являлась: у кого беремья тяжкое, у кого младенец не плачет, а молчит «яко камень речной». И не брала она серебра лишнего, только полотенце чистое да хлеб краюшку; бывало, скажет: «Не мзды ради, но спасения¹³», – и глянет «яко сквозь».

Сказывали про Домну-Матерь, что в полночь она травы собирает, когда роса «яко бисер» по лугам лежит. «Во имя Живы и в стражу Рода», шепчет, да к звёздам ладонью – и светится та ладонь, «яко свеча в окне». И была у неё тайна: при ней всегда ладанка из бересты, а внутри – не образ, не кость, но пуповина высушенная, узлом завязанная «яко бесконечие». Говорила она: «Сим узлом дитя к миру привязываю, да мир к дитю». И «аще кто посмеёт», тому три

¹³ «не мзды ради, но спасения» – не ради награды, ради спасения

ночи сон не ляжет, а на четвертую приснится ему вода тёмная и голос из глубины: «Не шуми, человек, не твой удел».

Однажды случилось в нашей слободе бедоносное. Молодицу Аксиныю прихватило внезапно: схвати –пусти, да кровь «яко калина по снегу». Муж её, Прохор, парень горячий, на коня – и к попу, а тот крестом машет: «Грехов ради терпите». Тогда бабы на Домну послали малых: «Беги, скажи: умрёт». Пришла Домна-Мать тихо, как тень от горницы до порога, свечу огнём не зажгла, дыханием – и загорелась. Села у ложа, шепчет: «Тако было, тако есть и тако буди. Мать сыра земля, прими страх,пусти боль, дитя на свет яви». Взяла она рушник льняной, узел заплела «яко узда коню», да под печью спрятала. Потом из кошелья трав достала: зверобой «яко солнце», материнку «яко сладкий дым», и соком их лоб Аксенькин помазала.

Прохор, вернувшись, криком крикнул: «Не позволю ведьме в доме!» Домна на негоглянула не зло, но тяжко: «Не ругайся, раб Божий. Яко слово сказал, тако назад не воротишь. Сиди, молчи». Он скинул с гвоздя кнут, да рука не поднялась – «яко свинцом налилась». Тут куры под окном захлопотали, пёс под печью завыл, а на крыше ветер «яко колесо» завертелся. И ровно в этот час раздался первый крик младенческий – звонкий, «яко меди удар». Домна узел из-под печи вынула, развернула потихоньку, «яко снег на ладони», и дитя затихло, дышит ровно, глазёнки открывает.

Бабы ахнули, один Прохор попятился, шепчет: «Что это было?» Домна положила на стол краюшку хлеба, посолила щепотью: «Так заведено: за жизнь – хлеб, за хлеб – благодарение». Повернулась к молодежи: «Ты, Аксиныя, не плачь, а руки мой. Сорок дней берегись, не порочь огня, не слушай пустого. Аще придут ночами шёпоты – не откликайся, скажи: «Свое взяла, чужого не держу». И сняла с себя ладанку берестяную, повесила над колыбелью: «Пока месяц осенеет, сей страж охранит¹⁴».

Про Домну пошёл разговор сильный. Один скажет: «Святая», другой – «ведьма лихая». А она ходит своим путём, не спорит, «яко вода камень точит». На Троицу травы святит, на Купалу костры обходит, шепчет древние слова: «Рожаницы-матери, не гневайтесь, дитяти не бейте, пути не ломайте». И кто слышит, крестится, а кто не слышит – спит, «яко дуб вековой».

Пришла, однако, в слободу зима лютая, «яко волк голодный». Заболела девица Домникина, тонка была, «яко тростинка», да ещё любовь на сердце – не ест, не пьёт, сохнет. Мать её к Домне: «Спаси, матушка». Домна в избу вошла, в углу огонь разожгла «от огнива древнего», вынула из пазухи три иглы: серебряную, костяную, сосновую. «Сие – три пути, – сказала, – выберет сердце». Прислонила серебряную к виску – звон пошёл тонкий, «яко звонец под куполом»; костяную к запястью – теплота разлилась; сосновую к груди – смола запахла, глаза у девицы прояснились. «Любовь твоя – не плотская, но путевая. Пойдёшь за кустарьём – слезами изойдёшь. Сядешь за прялку – песни найдёшь. Тако тебе суждено». Девица вздохнула, улыбнулась тихо, с тех пор стала певуньей: голос её на ярмарке звенел, «яко струна гусельная», и парни перестали её тянуть в дорогу, слушали и кланялись.

Но не всем по нраву. Нашёлся однажды писарь волостной, важный, «яко индюк на солнце». Сочинил бумагу: «Ведьмовство искоренить». Послали к Домне стражников. Пришли – нет в избе Домны-Матери, только на лавке полотенце белое да травы в пучках. Окно открыто, морозный узор «яко письмо нездешнее». И слышится с порога голос – не голос: «Не ищите меня среди стен, ищите среди путей». Стражники перемигнулись, да и ушли, «яко вошли».

А поутру бабы нашли Домну у родника под горой. Сидит она, руки в воду опущены, «яко корни в землю», глаза прикрыты. «Матушка, вставай!» А она отвечает: «Не время мне встать. Многим ещё родиться». С тех пор как кто в слободе роды примет – в окне на миг огонёк

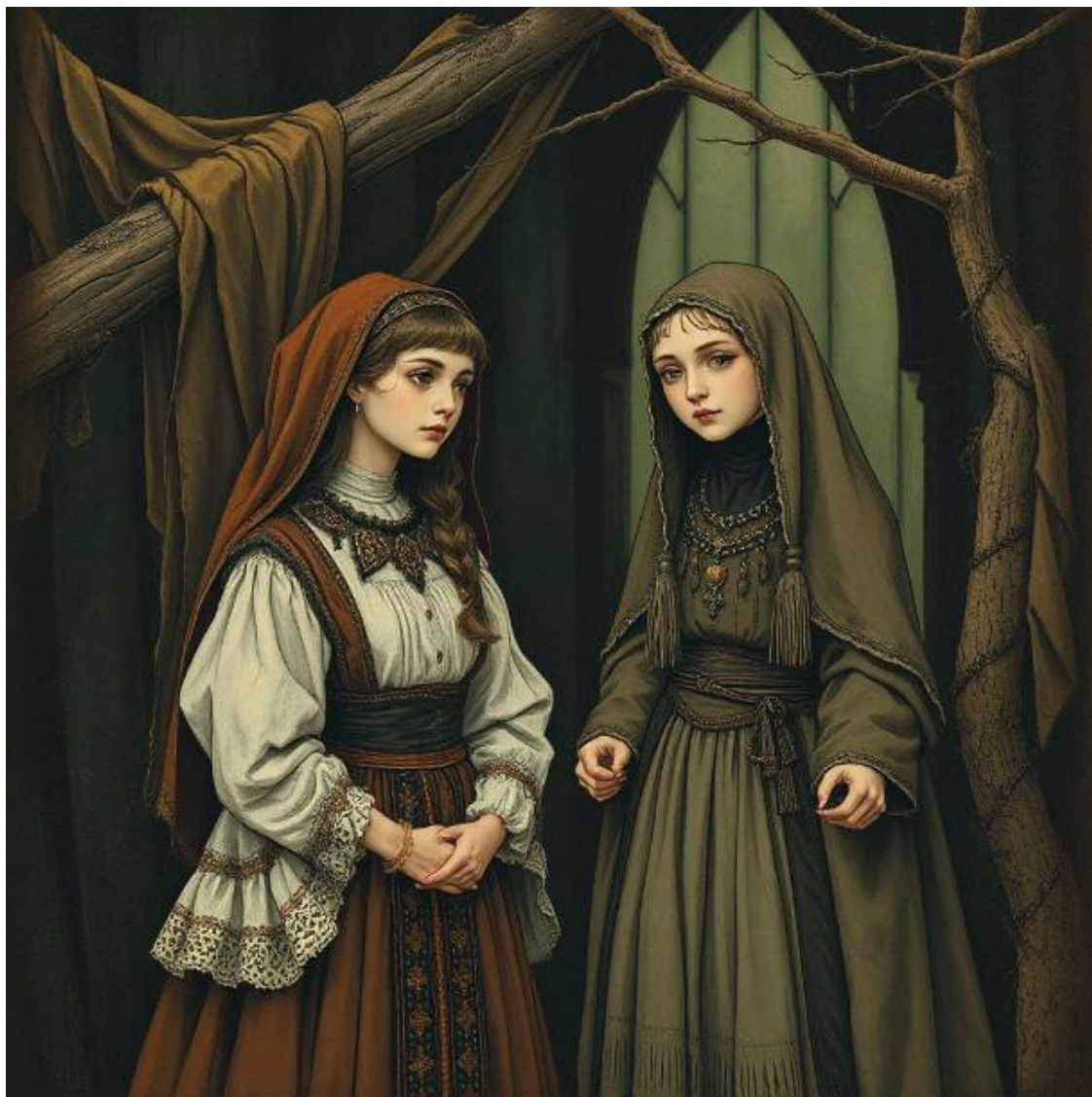
¹⁴ «пока месяц осенеет, сей страж охранит» – пока месяц освещает, этот страж охраняет

вспыхнет, «яко звезда падающая», и шёпот пройдёт по углам: «Тако было, тако есть и тако буди». И дитя родится живое, крикливое, а мать крепнет скоро.

Скажут ныне: «Где Домна-Мать?» А и ныне тут. В берестяной ладанке, что над колыбелью висит у каждой честной хозяйки; в траве, что на рассвете блестит; в узле, что повитуха вяжет не для колдовства, но для памяти. Ибо «всяка вещь именем держится», а имя её – Мать. Кто с уважением скажет, тому помощь будет. Кто насмехом – тому тьма в окна глядит.

Тако слушайте, дети и внуки: не гоните от порога ту, что приходит в тишине. Не ругайте рук, что жизнь вытягивают «яко нить из кудели». Берегите хлеб, воду и огонь – три свидетеля рода. И помните слово старое: «Не обидь повитуху – обидишь судьбу». Так повелось издавна, и да пребудет.

Купеческая дочь и Вурдалак



В граде широкоторжном, на Великом пути, жил купец Богдан, богат был товарами, да душой тёпел. Имел он дочь-голубицу, Марью светозарную: косы «яко лён златой», глаза – «яко небо в тиху зору». И была при Марье служанка тихая – Дуня, сиротина, с лица бледна, речи немногой, ходит – не шелохнётся, вздохнёт – огоньки в лампаде дрогнут. Люди шептали: «Не проста та, не здрава та», да кто услышит людской шёпот, коли забот купеческих полны закрома?

Пришёл к Богдану сватовник честной – воеводич Яромир: «Желаю, – глаголет, – руки у дочери твоей. Род наш древен, дом наш крепок, честь – камень горний». И соглася Богдан, назначили свадьбу на Спаса, дабы яблоки святы благословили союз.

На той неделе пред Спасом, как полночь пришла и колокол в тишине «яко гром малый» возглаголал, коснулась Марья зеркала водяного – в чаше серебряной воду держала, приметой старой красу поглядывала. И вдруг почуяла: холод тянет «яко из-подо земли», дыхание чьё-

то за плечом. Оглянулась – никого. Лишь свеча моргнула и погасла, а из угла шёпот: «Не тебе венец, красна панна¹⁵...»

Марья перекрестилась: «Господи, сохрани!» А Дуня вышла из тени – смиренная, да взгляд как у ночного зверя: «Не бойся, матушка. Я все за тебя сделаю, и венец, и кражу взгляда людского отведу. Ты только плат узорный оставь на окне – знак судьбе». Марья, доверчивая, положила плат, «яко снег бел», на подоконник, а Дуня в полночь волосы расплела – длинные, как темный ручей, да слова старые шепнула: «Да буди мрак свету покров, да буди имя именем: мое – твоё, твое – ничьё».

Настал день свадебный. Гости сошлись, музыка грянула, каравай «яко солнце малое» вынесли. Не узнать Марью: бледнее снега, молчаливая, под фатой – будто иней. А Дуня при ней – то ли за подружку почётную, то ли тень неприкаянная. Идет не невеста, а тишина идет, и от тишины холодок по спинам.

В храме священник псалом взял, да свечи что-то чадят. Колосья в венках шепчут: «Не та, не та!» Яромир руку подал – ледом свело, но терпит: мужу – стойкость. И когда корону золотую на чело возложили, услышал купец шорох, «яко мышинный на складе», да увидел – на полу у ног невесты тонкая нитка тянется, черна-черна, уходит в щель каменную.

В ту же ночь после пира, когда гусли смолкли, а гости разбрелись, молодой привёл невесту в терем свой. Снял фату – и ахнул: лицо её – прекрасное, да без крови живой, бело «яко полотно похоронное», глаза – глубоки, без дна. «Кто ты?» – шепнул. А она улыбнулась тонко: «Жена твоя, господине, как судилось». И ветер за окном завыл, будто волк у межи.

На заре у печи сидела кормилица стара: знала она «словеса древние» и «приметы недобрые». Вошла к молодым, да в узелке травы принесла – зверобой, чабрец, полынь горькую. Под дверью рассыпала, под окнами кресты соляные положила. «Не к добру, – шепчет, – не к добру венчались. Слышала ночью: идет кто-то по крыше – не шагом, а скольжением, и когтем чертит». И рассказала: в их краях водится вурдалак – «мёртвый живущий», кровь живую тянет, образ чужой носит «яко рубаху заёмную». Любит он свадьбы – веселие людское, тепло, огонь, да подменит там живую, возьмёт дом и род на погибель.

Тем временем Марья, истинная, очнулась в чулане темном, руки её связаны не верёвкой, а волосом длинным, холодным, «яко змий шёлковый». Шепчет в темноту: «Матушка-Богородица, изведи!» А оттуда – ответ тонкий, голос Дуни: «Не тебе венец. Твоё – в тени. Моё – при свете». И стукнуло в стене «яко сердце чужое».

К ночи второй осмелился Яромир. Пошёл к старцу-страннику, что жил у речной излучины, травы сушил, книги читал «на глаголице ветхой¹⁶». Старец выслушал и молвил: «Венец у ворожея, имя у ворожея. Возврати имя – возвратишь душу. Знай: вурдалак не терпит трёх: огня чистого, слова истинного, и кровного знака. Принеси в терем огонь от новой молнии, слово – из Псалтири, знак – от матери».

Собрался Яромир. Кузнец дал ему кресало огневое – с заусенцем «яко молния в камне», священник благословил словом, а мать Марьи подняла из сундука ладанку – там локон детский, «первый волос», узлом завязанный.

Вернулся в терем, когда ночь села «яко ворона» на трубу. Вошёл тихо. Невеста сидит у окна, шьёт белым по белому – узоры, как паутина. «Жена моя, – сказал он, – дай руки». Она подала – ладони ледяны. Он кресалом высек искру – чистое пламя взвилось, свеча вспыхнула. Лицо невесты дрогнуло, «яко ртуть на морозе». Тогда он прочёл слово – не громко, но ровно: «Господь свет мой и спасение моё». И коснулся её чела ладанкой. В тот миг завизжало не человеческим: кожа отступила как тень, глаза задымились. «Не твоё имя, – сказал Яромир, – отдавай». И стало видно: на груди у неё чёрная коса-нить, узлом перевита, тянется куда-то –

¹⁵ «не тебе винец, красна панна» – не суждено тебе выйти замуж, красная девица

¹⁶ «на глаголице ветхой» – на старинном языке

к сундуку. Распахнул – а там плат Марьин лежит, белый, да в углу – узел волос Дуниных, в кровь макнутый.

Разрубил узел, бросил в огонь. Пламя «яко змей» лизнуло черноту, и в тот же час дверь чуланная хлопнула – из тьмы выпала Марья, живая, хотя и бледна. А на месте невесты – Дуня, уже без маски чужой красоты, губы синеваты, зубы острые, «яко иглы рыбы». Завыла, кинулась к окну – а там соль крестом, полынь кругом. Дёрнулась, зашипела, да стала в клочья марева рассыпаться, «яко туман на ветру». И только нитка чёрная шмыгнула в щель – ушла в землю, в сырую, как в нору.

С тех пор жили Марья и Яромир честно, род их множился, каравай на столе не переводился. А в градовом люд живом память осталась: «Не оставляй плат на ветре, не гляди в воду меж полночью и петухом, не верь тени, что без тела». Служанок сирот не обижали – но и не пускали близко к зеркалу с водой. А купец Богдан на Спас всегда ставил в окне свечу – «огнь чистый» – и солил порог, да полынь над притолокой вешал.

И говорили старые бабы у ворот: «Помяни слово древнее: не всякая невеста – жена, не всякий голос – родной. Вурдалак образ носит, да души не носит; имя бережёт – и дом уберёжёт». Так и ведали на торжищах, и в гостиных, и у печурки: «Да буди свет светом, а тень – за порогом». И мир стоял на том слове, «яко дуб на корени».

Быличка Поп и Покойники



Говорили старые люди в Ладожской стороне: был там поп Венедикт, строгий, боголюбивый, да глаз у него зоркий, «яко клинок на солнце». Службу правил исправно, книги знал, глас читал протяжный, «яко ангел плачущий». И было у него правило: к кому беда – тех не отворгал, а кому страх на сердце – тем псалмы шептал, соль освящал, маком обметал. Жили с ним мирно, пока не случилось в те годы «знамение ужасное».

В ночь пред Дмитриевой субботой, когда поминают роды, поднялся туман с болота, густой, «яко кисель студёный», и повис над кладбищем церковным. С утра сторож Тимоха прибежал, кричит: «Ой, батюшка, беда! Земля хлюпает, кресты трещат, и слышу – ногтями по крышкам, по крышкам, да шёпот меж сосен: «Пусти нас в тёплый мир, пусти к огню живому». Поп Венедикт только перекрестился: «Не уstraшитcя сердце моё. Аще Бог с нами, кто против нас?» – и велел колокол зазвонить «во успокоение душ».

Сошёлся люд к церкви, кто с огарком, кто с веточкой полыни, кто с кутёй поминальной. Жёны плачут, старики крестятся частенько. И вот – над порогом, над слюдяными окнами – тень поползла, «яко дым без огня». Двери сами собой заскрипели, и вошли трое. Не то живые,

не то «восставшие от земли»: лица бледны, «яко воск на морозе», глаза тёмные, глубинные, и губы шепчут неслышно. Люд ахнул, поп шаг вперёд сделал.

«Рабы Божии, – молвит ровным голосом, – именем Господним повелеваю: умиритеесь, идите в покой, да не смущайте живущих». Первой стояла старуха Домна, померла ещё на Рождество. Узнала её невестка, вскрикнула и к полу – а Домна на порог глядит: «Не пускает огонь чистый», – и шепчет: «Воды дай, внучка, горло сухо». Поп строг: «Не причастно мёртвым питье живых. Писано: «Да не приидет тень на светильник¹⁷». И поднял крест.

Они отступили на шаг, «яко волны от камени», да не ушли. Послышался снаружи стук, «яко кости в сундуке». Из-за ограды повалили прочие: кто в саване порванном, кто с землёй на волосах, кто весь, «яко тина речная». И каждый шепчет своё: «Долг невыплаканный... слово невысказанное... имя забытое...». Поп Венедикт понял: не по голоду они пришли – по памяти.

Зажёг он свечи перед иконами, расставил соль «крестом», полынь над притвором закрепил и начал читать канон за упокой. Голос его под сводами «яко звон серебряный», а за дверьми – шур-шур ногтями, стон, да «ахи без дыхания». С каждым стихом тени бледнели, «яко иней на солнце», но не уходили – стояли у порога, как вода у плотины.

Тут выбрался вперёд один – молодой, в глазах тоска лебяжья. Погиб на сенокосе, водой захлебнулся. И прямо в церкви воздух похолодел, «яко подле ключа». Шепчет: «Батюшка, не отпет я был. На скорую руку в землю спустили, без звона, без свечи, без слова. Впусти – догори свечка моя». Поп глянул на народ: многие опустили головы – стыдно стало. «Буди благословен день сей, – молвит Венедикт, – отпоём тебя, чадо». И стал читать особый чин, «яко должно». Молодой расправился, улыбнулся тихо – и стал прозрачен, «яко пар над рекою», понемногу растаял. Люд вздохнул свободней.

Но вслед ему шагнул другой – кривой, горбатый, да глаз сверкнул «яко уголь под золой». «А мне, батюшка, чего? Кровь мою не сыскали, убийцу не назвали. Имя моё забыли на поминках, а доля моя горька. Не уйду, доколе не возопиешь». И как поп слово начал, так тот заскрипел зубами, да ладонью по порогу – «царь-порог, пусти меня». Полынь зашипела, соль потемнела, свечи заколыхались. Люд застонал: страшно стало, «яко перед лихорадкой». Поп Венедикт перекрестил его трижды, «яко повелось от дедов», да стихом крепким ударил: «Изыди печаль, умирися злоба». На миг притихло, но тень не ушла: «Имя назови. Имя укажи». А имя-то – тайное, людское, грешное.

«Не дана мне власть суд творить, – сказал поп тихо. – Мне дана молитва». И снова начал канон. Тогда от ворот рвануло целой толпой: вдовы забытые, младенцы, «неположенные в землю с крестом», да те, что от бедной смерти, без поминок. Шепоты смешались: «Помяни! Помяни!» И стало в церкви тесно, «яко в житнице в урожай», хотя дверь всё ещё держала их невидимой чертой – солью да словом.

Поп Венедикт пот лбом роняет, голос садится, руки дрожат. Понимает: одной молитвой не утишить всех – память людская дырявая, сердце человеческое лениво. Отпевай не отпевай – если в сёлах не помянут, если долги не возвратят, «тень на пороге стоять будет». И вспомнил он слово древнее: «Жив живыми спасается, мёртв мёртвыми поминается». Обернулся к людям: «Вы, живые, долг платите: имена вспомните! У кого чей грех – принесите, положите перед огнём, да не утаивайте. «Яко сказано: истина свободит.»

И пошёл по церкви шёпот: кто бумажку сложил с именем забытого, кто свечу поставил за соседа, кого при жизни не любил. Старуха Авдотья вывела трясущейся рукой: «За Степана бродника». Парень Федька выпалил: «За Фому-колдуна» – хоть и боялся его. И как полетели эти имена «яко горох по полу», так за дверьми шум стихать стал, «яко дождь, уставший стучать по крыше». Многие тени посветлели, кланяясь, «яко травы при ветре», и отступили к ограде.

¹⁷ «да не приидет тень на светильник» – пусть никто и ничто не заслоняет свет от светильника

Один только – тот горбатый – всё стоял, «яко кол». Зубы скрипят, глаз чёрный глядит. «Имя моё скажи, батюшка, покажи руку, что кровь пролила». Поп Венедикт опустил глаза: не знал, не ведал – дело давнее, «яко пень в болоте». Он и так, и сак – молитвой, свечой, кадилом – не берёт. «Не дано мне, чадо, суд вершить. Время скажет, земля откроет». – «Не уйду», – шепчет тень, и холодом повеяло, «яко от зимней проруби». Тут свечи вдруг разом вздохнули и погасли – тьма в церкви «яко мешок».

Люд ахнул, кто на колени, кто к стене. Поп ощупью к аналою, кремень – огонь – фитиль. «Господи, помилуй!» – да не берётся огонь, «яко мокрый мох». А из тьмы голос: «Не светом ты меня, батюшка, удержишь, а правдой». И понял Венедикт: дошёл до края – тут власть не его. «Будет тебе имя, – сказал он, – когда свидетели встанут. До той поры не переступишь порога, “да не смешается правда с кривою”». И последний раз крест осенил дверь «крестом воздушным», солью порог присыпал, да произнёс слово твёрдое: «Запрещаю».

Тень завывала тонко, «яко струна», ударилась в невидимую преграду, рассыпалась искрами холодными – и в землю ушла, «яко вода в песок». Но не в покой – а в ожидание. А прочие – кто с именем, кто со слезой – улеглись тихо, «яко колосья после ветра», и кладбище стихло.

Утром люди вышли – на ограде соль чёрная, полынь сухая, кресты целы. Поп Венедикт стоял белый, «яко мел», голос шепчет, сил нет. Сказал он люду: «Не надейся, братие, на одну церковь. Дом свой держите чист: имя чтущее – душу спасает. Поминайте вовремя, долги возвращайте, слово завершайте, “да не будет тени на пороге”». И добавил: «А того, кривого, вспомните: кто видел, кто ведал – выходите с правдой. Иначе придёт опять в субботу мясоедную, и снова тьма встанет перед дверью».

С той поры в Ладожской стороне пошёл обычай: на Дмитриевскую да Родительскую нести не только кутью, но и записки с «именами забытыми». Полынь над притолокой держали, солью пороги присаливали, вод в полночь не смотрели. И говорили старые бабы у ворот: «Не всякую тень молитва берёт – некоторую правда берёт. “Яко рекомо есть: свет светом, а тьма да отступит». А про попа Венедикта сказывали: смирил он многих, «яко пастырь добрый», да одного не смирил – и в том его мудрость явилась: «не ему суд, а времени». Так и живут: имя берегут – и дом бережётся.

Избушка Ягини



В старом бору, где сосны шепчут «яко старцы седые», стояла избушка на курьих ножках – косая, космачёвая, крыша мхом обросла, окошко одно – «яко глаз колдовской». Жила там баба Яга, «костяная нога», да не злая наповал, но мудра «яко древо глубококоренное». И случилось раз, что на опушке той дороги, «какова меж мирами проходит», шла юная ведьма – рыжеволосая, с косами огненными, плат узорный поверх плеч, зелья в кошельке, травы сушёные в венке. Имя её было Радана, «яко радость утренняя», и шла она в гости к Яге – учение брать, да мудрость проверять.

Шла Радана, «яко свет пробудный», а навстречу ей всадник красный – конь розжаренный, грива пламенная, копыта искры сыплут. Очи у всадника ясные, «яко зоря утренняя», плащ алый-алый. Сказал он голосом звенящим: «Здравы буди, девица огнекоса! Аз есмь Рассвет – гонец первых петухов, стучащий в окна сонные». Радана поклонилась: «Будь благ, красный всадник. Научи, как сердце пробуждать, да чтоб не сожечь». Рассвет улыбнулся: «Помни: “яко солнце встаёт – так и слово истинное, тихо и верно, не огнём, но теплом”. Не спеши жечь – буди». И исчез, «яко дым над росой».

Шла дальше девица тропой жилистой, где след звериный перекрестился с птичьим крылом, и сквозь ветви пал свет ровный. Вышел всадник белый – конь молочный, глаза «яко лёд родниковый», плащ бел, «яко полотно утреннее». Рек он: «Аз есмь День – мерило пути и дела. Где я – там мера и ясность». Радана спросила: «Как держать меру, коли сердце горячо?» День ответствовал: «Положи в ладонь тень и свет – смотри, да не суди скоропал. «Яко рече мудрый: всяко делу свое время, и всяко времени – своё дело». Кивнула Радана, спрятала слово в сердце.

К полудню лес заговорил громче: кукушка смолкла, сова зевнула, треснули сучья – и настала тишина. Шла ведьма, «яко тень огненная», и к вечеру увидела всадника черного – конь чёрен «яко смола ночная», грива – ночь в звёздной пыли. Плащ – бездна, голос – «яко шелест крыльев над озером». Рече он негромко: «Аз есмь Ночь – страж тайн и снов. Не бойся темна: «яко в тьме семена почивают, дабы взойти во свет». Но помни: кто без свечи пойдёт – блуждать будет». Радана поклонилась низко: «Дай же, Ночь, меру страху моему». И дал он ей уголь-искру: «Сей огонь немолвный – не жжёт, но ведёт».

Так дошла она до болота крутого, где кочки «яко спины лягушачьи», а вода глаз не отдаёт. Из тумана вынурила избушка – повернулась к лесу клювом, к дороге задом. Радана трижды постучала костяшкой рябины: «Избушка, избушка, стань ко мне передом». Избушка посопела, «яко печь сытая», повернулась. Дверь скрипнула: «Кто там, кто есть?» И вышла баба Яга – нос крючком, зуб один меж губ, глаза – «яко угольки в печи». «А, рыжая! Аз тя чаяла. Идём, внучка, хлеби травяной, весть неси».

Села Радана за стол корявый, на котором соль чёрная, хлеб тёмный, квас с тмином. Яга поставила горшок: «Ешь, яко из рук матерних». Поела девица, рассказала: как встретила трёх всадников – красного, белого, чёрного. Яга кивала: «Знаю, знаю. Сии трое – верёвка времён: «утро – за край, день – за середину, ночь – за узел». Коль их услышала – можешь и избушку понять».

«А как её понять?» – спросила Радана, глядя стену шершавую. Яга постучала костяшкой: «Избушка – не дом, но порог. «Яко рекомо: меж лесом и селом, меж живым и спящим». Кто войдёт – да с пустыми руками, тот выйдет с пустою душой. Покажи, что даруешь». Радана вынула: росу утреннюю на травинке – дар Рассвета; белую нитку – меру Дня; уголь-искру – тайну Ночи. Положила на стол. Избушка загудела: брёвна зашептали «яко пчёлы в тёплый день», окошко высветилось, печь вздохнула.

«Добро, внучка, – сказала Яга, – ученье примешь. Но прежде – испытание “яко водами и огнём”. Вынеси на крыльцо три посуды: в одну – воду розову рассветную, в другую – молочную дневную, в третью – чернильную ночную. Придут странники – кого чем напоишь?» Радана вынесла. Вскоре постучали три тени: старик-калека, дитя заплаканное, женщина с узлом тяжёлым.

Сначала старик: руки дрожат, глаза мутны. Радана подумала: «Что старику? Тепло тихое». Дала ему воду розову – рассветную. Он отхлебнул – и взглянул ясней: «Благодарствую, внучка: “яко из мрака поднял еси мя». Потом дитя – щёки солёные от слёз. Ведьма дала молочную – дневную. Ребёнок улыбнулся, смех «яко серебро» зазвенел. Наконец женщина, плечи ломит, узел «яко камень». Радана подала чернильную – ночную. Та выпила – и вздохнула глубоко: «Тяжесть отступила. Во тьме нашла покой».

Яга захохотала, но не зло, а «яко ворона умная»: «Угадала. Рассвет – тем, кому встать; День – кому жить; Ночь – кому забыть боль. Помни сие: не все ключом солнца открываются, иной – лунною тишью. Взаими у троих – раздай троим». И добавила: «А ныне – дар тебе. Слышишь, как лес дышит? Возьми слово древнее: “Стань, как надо, да не как любо”. Коли к порогу придёшь – спроси не дом, но сердце: готово ли?»

Ночь легла на крышу, звёзды «яко маковые зерна» посыпались. Радана вышла на крыльцо, погладила перо совиное, что висело под притолокой. Рассветный всадник где-то далеко уже точил копьё о край неба; белый – складывал меру в ладони людей; чёрный – разве-

шивал сны на ветвях. Избушка тихо повернулась, «яко кошка на тёплом месте», и прижалась к корням. Яга изнутри крикнула: «Поминай, внучка, да забывай – “яко время держит, а сердце ведёт”».

И пошла Радана дальше дорогой меж миров – легка, да не легкомысленна; огненна, да не палящая; тихая, да не немая. Где шла – там травы становились выше, дети меньше плакали, старики глубже спали. Люди потом сказывали: «Ходила рыжая ведьма, у Яги учёная. Кому – рассвет поднесла, кому – день, кому – ночь. «Яко кому что нужно, тому то и добро». А избушка на курьих ножках стояла по-прежнему – страж порога, дом дороги, «яко слово меж вдохом и выдохом» – и ждала, пока новая душа постучит: «Стань, избушка, ко мне передом», и принесёт три дары – утро, полдень и тишину.

Спор Ягини и Змей горыныча



В темный бор, где туман «яко полог невидим» лежит меж елей, а мхи шепчут древним словом, прилетела Баба Яга в ступе – с пестом, как с жезлом, и с метлой-помелом, которым следы замечать. И была ночь чёрна «яко смола кипящая», лишь луны рожок цеплялся за ветви. Из-за сопки, сквозь дым и жар, выпростался Змей Горыныч – триглав, трёхязычен, каждый глаз «яко уголь тлеющий». Крылья его шевельнулись – и запахло грозой и кузнечным горном.

– Ой ты, Яга-ягаиха, лесная владычица, – пророкотал первый глас, низкий, как подземный колокол. – Чего ступой своей в траву врезаешься? Земля – не твоя, не моя, а общая. «Яко всяк путник – и гость, и страж».

– А ты, змий могучий, – зыркнула Яга, – крыльями не махай, росу не руби. Мне по росе вести идти, а не в пыли вязнуть. Время ныне тонкое – «яко нить паучья», меж осенью и зимою, меж бодрствованием и сном. Не к битве пришла, к слову пришла.

Зашипел второй глас, острый, как стрелка ледяная: – Слово твое кривое, яко корень старый. Ты гостьям рада, коли с дарами, а я рада пламени – оно одно не врёт. Давай спорим, Яга: чья сила вернее – твоя хитрая, травная, или моя прямая, огненная?

Третий глас, задумчивый, поднялся «яко дым над омутом»: – Судия нам кто? Людям не верю – «яко язык их скор, сердце мнительно». Лесу не верю – он обоим нашим ведом. Может, пусть ночь рассудит, что старше – жар или знание?

Яга усмехнулась, зуб на зуб положила, пестом землю легонько ткнула: – Ночь – моя сестрица. Но не попрошу кровницу судить родню. Пусть дорога решит. «Путь – яко река: кого несёт – того узнаёт». Станем три дела творить. В каждом – мера и толк. Кто дело вернее свершит – тому честь. Согласен ли?

Горыныч расправил шеи, чешуёй звякнул «яко сталь закалённая»: – Согласен. Назови первое дело.

– Первое – разбудить деревню, да не огнём, – сказала Яга. – Там дитя заболело, плач его «яко сверчок в печи» тонок. Надобно утро привести без страха.

Первый глас рассмеялся: – Без страха? Что ж, попробуем.

И поднял он крылья, и легонько дохнул жаром на восточный край. Но дым, хоть и тонок, окутал крыши, и собаки залаяли, и дети заревели – пробудилась деревня, да с испугом, с кашлем и слезой.

Яга же ступу повыше приподняла, метлой полукруг начертила, шепнула: «Восток, восток, проснися, светом пролейся, яко молоко тёплое». Дотронулась пестом до ольхи – и птица отозвалась. Песнь пошла бережная, «яко криница журлит», и окна одно за другим засинели, зашуршали половики, загремели ковши. Проснулась деревня – не от страха, от света. Яга лишь плечом повела: – «Яко слово мягко – и камень обтекает».

Другое дело назвал Змей, чтобы равно было: – Есть болото меж кочек, зевающее, «яко пасть голодная». Путник в нём тонет. Надо тропу проложить.

Яга кивнула: – Делай.

Первый глас ударил жаром – вода взвыла, ушла паром, муть осела «яко свинец». Осталась корка хрупкая; ступил путник – и провалился бы, кабы не Яга. Она метлой тростник перетянула, связала «яко косу девичью», шепнула: «Стойте, слова держите». Положила пучки меж кочек, пестом прижала – и вышла тропа живая, упругая. Люди прошли – и не провалились.

Третий глас прогремел с уважением: – Сила твоя в терпении, старуха. Но будет третье дело – моё любимое. Стоит в чаще дуб-сторож, «яко столп небесный». Под ним клад заклят, смех да горе поровну. Кто откроет – того и правда.

Полетели они к дубу. Стоит исполин шершавый, корни «яко змеи сонные» в землю уходят, соки шумят «яко море под корой». На ветви – узел слова, древний. Горыныч загорелся всеми тремя головами, дунул – кора потрескалась, смола стекла, но узел не развязался. Дунул снова – дуб застонал, листья почернели, а узел лишь крепче стал: «яко кто злее давит – то крепче держит».

Яга ступу на землю поставила, на корень села, вздохнула. – Не огню здесь дело. Здесь – памяти. «Яко помнить – тако жить». Дай-ка, змий, язык твой лютый – не для жжения, для слов.

Змей удивился, но высунул язык – длинный, раздвоенный, «яко тропы в распутье». Яга сняла с шеи костяное веретёнце, намотала на язык невидимую нить, зашептала: «Бысть-небысть, жили-были...» И стала сказ выворачивать, как рубаху наизнанку: и про семя дубовое, что в ладони старца лежало; и про девицу, что слезу уронила – в землю, и от той слезы сок стал сладок; и про кузнеца, что к корню приклонился и просил силы не на брань, но на ремесло. Чем дальше Яга говорила, тем сильнее тихо гудел дуб, узел на ветви слабел «яко лёд под солнцем». Наконец – хлоп! – и развязался.

Из-под корня вышла не золото-каменья, а голос – чистый, тонкий, «яко струна гусельная»: «Не вам владеть, а вам хранить. Кто узнал – тот отвечает».

Горыныч трижды моргнул – тлеющие угли в глазах его поблёкли, стали мягче. – Спор наш, Яга, как дым развеялся. Ты не сильнее меня, и я не сильнее тебя. «Яко правое крыло без левого не летит».

– Вот и разумел, огневик, – улыбнулась Яга. – Ты – страж поля бранного, грозы и перепек хлеба. Я – страж троп, младенческого сна и языка людского. Вместе держим край, чтоб не распался. Спориться можно, да жить – ладиться.

Первый глас проворчал, но без злости: – А что людям сказывать?

– Сказывай, как есть, – ответила Яга. – «Яко слово не лжёт, коли к сердцу привязано». Скажи: приходили к дубу – не золота искали, памяти касались. Не всякая сила – пламя; не всякая мудрость – тьма.

И вернулись они каждый в своё: Горыныч – к облакам и утёсам, где гром «яко кузнец» куёт молнию; Яга – к избушке своей на курьих ножках, что поворачивается «то лесом, то полем», да к травам, что шепчут: «Помни, помни». Иногда, в ночь погожую, слышно было над бором трёхголосое пение – не яростное, а равное, «яко хор братский». И дети спрашивали у матерей: кто поёт? Матери улыбались: – То спорят да ладятся. «Яко без спора нет ума, без лада нет дому».

А дуб стоял, корнями вглубь, вершиной в звёзды, и узел на ветви снова завязался – не тугим, но верным. Для тех, кто придёт не с жадностью, а с вопросом, он станет мягким «яко воск на ладони». Для прочих – камнем. И так повелось с тех пор: где Яга слово держит, там Горыныч огонь бережёт; где огонь бережён, там слово не горит. «Яко мир держится на мере, а мера – на сердце».

Как Ягиня приворожить Кощея пыталась



В тёмном бору, где сосны шептали о былом, жила-была Баба Яга костяная нога. Избушка её стояла на курьих ножках, повертывалась к лесу хвостом, ко входу лицом лишь по слову верному. И было у Яги сердце, как сухой корень омелы: треснет – да не сокрушится, горит – да не плавится. Одною ночью, когда луна стояла над болотом, будто серебряная чаша, пришла к Яге тоска-притоска.

– Ох ты, тоска-печаль, откуда в сердце села? – прошипела Яга, угли в печи шевеля. – Не желала я ни родни, ни дружбы, ни ласки. А ныне, видит Доля, тянет меня к Кощею Бессмертному, что «живёт его смерть на игле», да и в игле той мой сон ночной.

И задумала Яга приворожить Кощея. Сняла со сволога ступу дубовую, взяла помело берёзовое – и была готова лететь. Но прежде – чары.

Вынесла она из сундука скатерть тёмную, на ней – узоры-обереги, древние, кривые, как тропы по мху. Рассыпала три горсти соли: из моря Белого, из земли чёрной, из слёз девичьих – у Яги всё водилось. Поставила кувшин с водою, что «вчера не была, ныне бысть», набранную в ключе, где камень шепчет. На порог вышла и проговорила гласом старословесным:

– Во áзь, Яга ведающая, глаголю: «Да будет воля на небеси и на земли», да свяжется путь к Кощееву терему, а слово моё да будет крепко, яко «камень краеугольный».

С тем словом ступила в ступу, помелом погнала облака – и полетела. Лес расступался, звёзды, как старые знаки, вспыхивали и гасли. Летит Яга, видит – на опушке трое путников у костра спорят: кто избран судьбой, кто оставлен. Первый – богатырь в кольчуге, второй – скрипач, третий – нищий с котомкой.

– К почтенной матушке не враждуйте, – каркнула Яга, – ночи мало, дел много. Куда дорога держит?

– В Изморозную степь, – отвечает богатырь, – там Кощеевы дозоры, там ветер слова крадёт.

– Эх вы, – усмехнулась Яга, – «не искушайте судьбу, да не искушены будете». Кошечка ищущая. А вы мне не помеха. – И, кинув в костёр щепотку соли, прошептала: – «Свят, свят, свят» – да не для святости, а для пути.

Огни разом раздулись, и в языках пламени показалась дорога, будто из тени вытянутая. Яга ступила – и оказалась в царстве Кощеева: там трава серебром инейным, там воронья костяная резьба на воротах, там тишина резкая, как нож.

Ворота стонали, когда Яга постучала костяшкой пальца.

– Кто идёт? – спросил голос тонок, как струна.

– Я – Яга, матка ¹⁸лесная. Пусти, Кошей, гостя пришедшего. «Мир тебе, дому сему», – проговорю по чину.

Ворота раскрылись. Кошей сидел в высоком кресле, высохший, светлоглазый, как лёд в полночь. На груди у него висел ключик серебряный, тонкий, как нить.

– Яга, – усмехнулся он, – о тебе лес шумит. Чего желаешь? Соли? Костей свежих? Слова старого?

– Любовь хочу твою приворожить, – прямо сказала Яга. – «Любовь долготерпит, милосердствует», – так глаголют книги. А мне бы, чтоб ты меня помнил, чтоб сердце твоё не в стылую иглу, а ко мне наклонилось.

Кошей хохотнул, да не весело – в пепел.

– Сердце моё в игле, игла – в яйце, яйцо – в утке, утка – в зайце, заяц – в сундуке, сундук – на дубе, дуб – за морем. Как приворожишь то, чего в груди нет?

– А я не сердце твоё, – сказала тихо Яга, – я память твою приворожу. «Во начале было слово», и словом ты связан. Дозволь мне сказ говорить при свечах трёх: у порога, у печи, у изголовья.

Кошей помолчал, язык костяной у него, а слово – жадное. Кивнул.

Развела Яга огоньки: один – тёплый, как хлеб; второй – сухой, как полынь; третий – синий, как зимняя ночь. Поставила рядом: чаша с водой ключевой, веретено рябиновое, да горсть сырых семян.

– Слушай же, – молвила Яга, пальцем рисуя на полу знаки узорчатые. – «Се бо» жила девушка, да не девица, – сама судьба, звали её Память. Она ходила по миру босиком, и где ступит – там трава помнит след, и где вздохнёт – там звуки не исчезают. И встретила она юношу, да не юношу, – Время его звали. Он шёл вперёд и оглянуться не мог. «С нами Бог», – шептала Память, да Время не слышало. Тогда сплела Память ниточку из трёх волос: первый – из детского смеха, второй – из материнской колыбельной, третий – из имен, что шепчут над могилами. Ниточка та не сердце держит – душу за краешек.

Когда Яга говорила, огоньки плясали, вода тяжела стала, как свинец, а семена тревожно шуршали.

¹⁸ «матка» – мать

– Возьми, Кощей, сию ниточку, – Яга вынула из воздуха тонкую, едва видимую связь. – Не к себе привяжу, к миру привяжу. Как вспомнишь ты то, что забывал веками, так и взглянешь на меня как на ту, что возвращает.

Кощей протянул костлявую руку, коснулся нити – и вздрогнул. Перед глазами у него прошли леса до обледенения, реки до пересыхания, лица – те, что звал «ничейными». И в каждом – укор. Он отдёргнул руку.

– Ты хитра, Яга. Любовь – не на приворооте, а на горе и на радости держится. А я горе страхую, радость гашу. Кто меня полюбит?

– Я, – сказала Яга, и в голосе её не было ни карканья, ни яду, – «яко еси моё дыхание и тень моя долгая». Любовь моя не девичья, не сладкая. Она – как кость, как корень, как печной ухват. Я в тебе не тепло ищу, а правду. Приворожу ли – не знаю. Но зов мой ты слышишь, и уже не стать тебе прежним.

Кощей улыбнулся криво.

– Прозорлива ты. Если хочешь – испытай старые чины. Есть у меня сад, где яблоки не гниют, есть озеро, что память отражает, да только истины не показывает. Сумеешь в трёх ночах пройти: в первую – собрать яблоко несозревшее, во вторую – напоить озеро слезой, в третью – молчать до рассвета, – тогда приду сам. Не будет приворота, будет выбор.

Яга прищурилась: задания не лёгкие, а сердце её – упрямое.

– «Да будет!» – сказала она и пошла в сад.

Первая ночь – яблоки светятся, но ни одно не созрело, все твёрдые, как камни. Яга ходила меж деревьев, слушала. Вдруг слышит: одно яблоневое сердце бьётся медленно, но ровно. Подошла, приложила ладонь: там червячок малый, золотой, в кругу спит. Погладила она ствол, прошептала: – «Не мне, не тебе, но миру» – и яблоко отщелкнулось само, дурно созрев, но истинно.

Вторая ночь – озеро чёрным зеркалом, звёзд не показывает, только прошлые лица. Яга стояла, не мигая. Слеза у неё – редкая, как дождь в засуху. И всё же вспомнила она ладони матушкиной, как в колыбели качала, да песнь: «Богородице Дево, радуйся» – да не в храме, а в избе, где дым да молоко. И катится слеза – одна, чистая. Пала в воду – и озеро вздохнуло: «се, помяну». Звуки зашевелились, как караси в тине.

Третья ночь – молчание. Кощей, говорят, придёт смущать: шёпоты, крики, смех. Яга села на корень, руки сложила, глаза закрыла. Ветер приносил сто голосов: «Повернись! Скажи! Спаси!» Она молчала. Вышел сам Кощей, тихий, как тень.

– Заговори, – попросил он. – Скажи, что любишь, что ждёшь, что вернёшь.

Яга молчала. «Молчанием побеждай», – помнила она старую справу. И в том молчании Кощей услышал не пустоту, но место: как пустой горшок для хлеба, как морщинистая ладонь для зерна. Он понял: его принимают не ради бессмертия, а вопреки ему.

Рассвело. «Свете тихий святая славы» коснулся верхушек елей. Яга поднялась. Кощей стоял рядом, ключик на груди дрожал, как лист.

– Приду, – сказал он, не смеясь. – Без чар, без уз. Просто – приду. Но помни: я таков, каков есмь. Мрак – мой плащ, лёд – мой хлеб.

– А я – как дár, как осина у воды: скриплю, но стою, – ответила Яга. – Не приворожила я тебя, Кощей, а привела к порогу. Дальше – твой шаг.

Вернулась Яга в свою избу. Избушка повернулась к лесу, к тропе, к небу. На лавке – ниточка из волос, тонкая, как паутинка в октябре. Яга не прикоснулась к ней – повесила над дверью, как память.

Прошло три дня, три ночи. На четвертую явился Кощей, без грома, без вихря. Сел на лавку, как обычный путник. Смотрел на печь, на полки, на травы в пучках.

– Чаю? – спросила Яга.

– Чаю, – ответил он.

Пили они молча. На столе лежало яблоко недозрелое, но истинное. За окном озеро, что помнит. В сердце – тишина, в которой слышно, как мир дышит.

– «Слово плоть бысть», – сказал Кощей наконец. – Я остаюсь на ночь.

– «Аминь», – ответила Яга, но без храмовой тяжести, а как старуха, что согласилась на добрый ветер.

Так и началось у них не привороженное, а выстраданное. Баба Яга осталась Ягой – с костяной ногой, с хитрым глазом, с песнями, что старше трав. Кощей остался Кощеем – сухим, хрупким, ледяным. Но там, где «во а́зь» встречается со «с нами Бог», нашлось место двум одиночествам – быть рядом, не пожирая друг друга.

А ниточка из трёх волос по-прежнему звенит над дверью, когда ветер поёт. И если ночью идти мимо той избушки, можно услышать: шепчет Память Времени, а Время – не бежит, а задерживается на один человеческий вздох. И это – вся магия, что сильнее любого приворота.

Бывальщина про ведьму плачею



Мне дед говорил, а деду его прадед, а тому – старый сторож при кладбище: бывало дело в нашем уезде, где река бежит, а над нею церковь белая стоит, небом умытая. И случилось там в пост великий, во среду светлую, когда «времена и сроки у Господа суть», купеческую дочь, единственную и ласковую, занесли в храм на отпевание.

Купец наш был толст и важен, но сердцем мягок, жена его – тихая, «яко агница безгласна». Девуцу их Любаву вся округа знала: шла – как весна в сарафане, речи её – будто ручьи звенят. Да недолго звонали: «аще» злой жар, «аще» недоброе око – только и хватило, чтобы цветок поломать. Притчиhi одни – кто говорит, мол, венец ей был заказан, да жених промешкался; кто – что к святым молилась да свечу не тем углом поставила. А иной так прямо скажет: «Бог весть».

Собрался люд. В храме пахнет ладаном, да слеза свежая, да берестой сырой, коей гроб обит. Батюшка пел «со святыми упокой», а хор – тихо, будто лес дышит. И тут, говорят, на пороге явилась плачея – ведьма ли, не ведьма, а ремесло у неё одно: плакать за погибших, «глас вопиющий», да не по наговору, а по правде. Кто назовёт имя её – тот потом семь ночей

без сна. А тут и не знали – зла не ведала, летом лечила травами, зимой детей от лихорадки отшептывала.

Вошла без звука, «яко тень проходящая». Платок на челе – черней ворона, глаза – как две воды глубокие. Встала у левки, где свечи тонкие, перекрестилась не косо, а по-старому, целуя край пальцев, шепнула: «Во азъ грешна, помилуй». И заплакала. Да так, что у стойких мужиков в груди застыло, а у женщин платочки намокли. Слово её пошло не словом, а песнью древнею, что старше иконостаса, старше берёзы на паперти:

– «О, чадо светлое, лико чистое! Во чреве матери носимое, во радости купели омытное! Увы мне, увы! Земля землёю, прах праху – «якоже писано бысть», но сердце человеческое где положим?»

И дует, говорят, от её речи не стужей, а весенним ветром; слышно, как река за окном отвечает: «аминь». Купчиха приникла к гробу, руки ломает, а купец, какой был глыба, сел на каменную плиту и стал мал, как мальчик. Батюшка сперва сурово зыркнул – мол, не по уставу плач столький, – да и он бороду в грудь уронил. Потому что плачя не кругом, а прямо к сердцу говорила:

– «Не зазываю мёртвых, не кличу теней; плачу по живым, кои без Любавы осиротевша. Мати, мати! Утешися: «блажени плачущии, яко тии утешатся». Отец! Не ропщи: «Господь даде, Господь и отъя; буди имя благословено».

А потом стала шептать как-то тихо, меж свеч и икон, будто с кем-то спорить: «Отпусти, Доля, не держи узду крепко. Сей цветок не мне, не земле – небу». И всяк, кто слышал, скажет: в ту минуту на храмовую слезу отозвался колокол сам собой – «бум» да «горько», тонко, будто детский смех и плач вместе.

Три круга обошла плачя вокруг гроба, не запинаясь, ступой мягкой, вышивкой по камню. И на третий круг протянула ладонь, да не коснулась – воздух один взяла, да губами прикрыла, как младенцу лоб. «Да будет свет», – молвила старословно, и свечи одна за другой отступили слёзой вниз. А на лице Любавы, говорят, тень тяжёлая ушла, и стало оно как у спящей – не холодной, а будто прислушивающейся.

Тут одна баба пискнула: «Колдовство!» – и перекрестилась в страхе. А плачя ей сквозь слёзы: «Не трепещи, мати: «не во чародействах спасение», но в милости. Аз слёзы не творю – только собираю. Сколько падёт – столько и понесу». И вытерла платом мокрым каменную подпору, где кто ни возмись, всегда темно, да сыро. «Пусть стена не плачет, коли людям плакать надобно», – сказала.

Отпели. Несли Любаву за церковный двор, к липе старой, под коей снег поздно тает. Плачя шла следом, но тише травы, и песнь её уже была не горькой, а ровной, как стежка к дому: «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоея Любавы. Яко Ты еси живот и воскресение». Сугробы подтаивали, воробьи били крылышками в резные ставни, и казалось, что март отступает перед тем словом – не из-за ведовства, а из-за правды.

Поставили крест. Купец поклонился в землю. Купчиха приложила к сырой доске как к иконе. А плачя сняла плат, выжала – вода из него текла чистая, будто из ключа. «Возьми, мати, – протянула купчихе, – не на приворот, не на остуду: на утешение. Омывай очи, когда туман станет. «Свет во тьме светит, и тьма его не объят».

С тех пор, говорят, как только в нашей церкви плакать начинали – будь то по солдату потерявшемуся, будь по младенцу кроткому, – являлась, «коли благословено», та же плачя. Никого не брала, ничего не требовала, только «слово слезное» приносила, как хлеб насущный. И пока её голос звучал – не рыком, не криком, а ровной речью – люди стояли крепче, земля под ними была теплее.

А кто спросит: «Куда она делась?» – тому скажут старики: «Аще услышишь в тёмную пору, как в храме пустом шепчут: «помяни нас, Господи», – знай: не ветер стонет, плачя

бродит, слёзы собирает в свой платок. На суд принесёт – да и скажет: «Не по мне рыданье, по любви». И будет ей ответ: «аминь».

Как Алеша у медведя крал



В темном бору, где сосны гудят, яко трубы, а мхи мягки, яко перины, жил-был медведь могучий, именем Михайло Потапыч. Сей зверь был не простой лесной хозяин, но хранитель бочонка волшебного, что от пращуров¹⁹ ему достался. Говорили старцы: «аще покотиши бочонок по дороге светлой и словом добрым накажешь, явится град каменный, со сводами высокими и слугами невидимыми, яко ветер – работают, а не видятся».

Держал Михайло бочонок под корнем дуба седого, к которому «ни зверь, ни змий» приблизиться не смели. А был у нас в селе паренек ловкий, Алеша по прозвищу Лихогляд: «очи у него зорки, ноги резвы, язык сладок». Вот тот Алеша, услышав от бабок-ворчух про бочонок чудесный, прикинулся лесному товарищу: «Аз есмь, дескать, слуга добрый, старцу и младенцу полезный, дайте мне, лесные, слово молвить».

Пошел Алеша в бор по просеке лунной, встречает Михайлу: тот сидит, как гора, лапой бороду чешет. «Здрав буди, добрый хозяин, – молвит Алеша, кланяясь в пояс, – да помощи

¹⁹ «пращуры» – прадеды

страннику: заблудихся, еще не укажешь тропу – погибну». Медведь сердце имел не злое, возрычал мягко: «Ступай за мной». И повел Алешу старательно, через буреломы да кочки, в поле выводит. Пока шли, Лихогляд глазом косым примечал дуб седой, корень распаханый и в тени – бочонок мал, бокастый, обручами схваченный.

Ночью же, когда Михайло уснул под морозящим дождем, Алеша тихонько вернулся, «яко тать nocturnal²⁰», крадучись меж орешников. Подошел к дубу, шепнул: «Господи, помози», да и вытянул бочонок из норы. Только покатило – и земля под ним будто бы вздохнула. Катится бочонок, звенят обручи, а Алеша произносит, как бабка учила: «Во имя добра, явился, град белокаменный!» И вдруг – «се, се!» – на чистом поле выросли стены светлые, палаты с окнами слюдяными, ворота резные, а калитки сами раскрываются, «яко объятия материнская».

Зашел Алеша, и слышит: шур-шур по полу, засвистело в печах, загудели трубы. Слуги невидимые враз постелили скатерти узорчатые, вынесли караваи румяные, квас студень, да лапти сушеные – «кому что надобно». «Эй вы, добры молодцы невидимые, – молвит Алеша, – уготовьте мне чертог да постель мягкую, да чтобы, еще позову, явится конь огнегriвный». И все исполнилось: конь топнул за стеной, звеня уздой невидимой, постель задремала пухом, и лампада – ничего не видно, а свет есть.

Жил бы Алеша, как князь, да совесть его, «еще и тонка», а все же шепчет: «Не твоё берешься держать». И вот в ту пору Михайло Потапыч проснулся, нашел нору пусту, зарычал так, что лунь из камыша вспорхнул. «Ой ты, дуб-дубок! – сказал он, – видел ли, кто бочонок мой унес?» Дуб молчит, только листья шепчут: «Алеша, Алеша». Пошел медведь по следу, лапой следит, носом роет, и вышел к полю, где новый град стоит «яко с небеси сошед».

Подошел медведь к воротам. Ворота ему сами распахиваются, слуги невидимые шепчут: «Великий гость!» А Алеша на крыльце, в кафтане чужом шелковом, улыбается: «О, Михайло Потапыч, прости, что бочонок твой заимствовал. Не во зло, а во благо: людям помогать хочу». Медведь глаза сузил: «Слово твоё – сахар, да мысли твои – полынь. Всякая вещь по роду и месту стоит. «Аще не твоё – не трождь», так старцы рекли».

Алеша не уступает: «Слуги невидимые, накройте стол, угостите гостя». И зашумели палаты, пар пошел, запахи сладкие повисли. Медведь сел, хлебнул квасу, и – сердце его смягчилось. «Не стану я, – думает, – костью в горле быть: коли уж взял – да будь по тебе. Токмо помяни: «не гордись, человеке, яко вся слава – трава».

Прошли дни. Стал Алеша людей из слободок да деревень в град пускать: кому хлеба, кому крыша, кому печь натопить. Слуги невидимые трудятся без устали, и радость большая пошла. Да вдруг случилось зло: пришел жадный староста из соседнего села, услышал про чудо, да задумал бочонок себе прибрать. «Аще котить – замок явится, аще спрятать – у меня будет власть». Ночью пробрался он, да начал бочонок покатывать дворами тайком, произнес слова неправые, не от сердца, а от алчности. И разом стемнело, ветры завывали, палаты закрипели. Невидимые слуги, «яко тени смущенные», перестали слушаться.

Алеша понял: «Не к добру». Побежал к воротам, а навстречу – Михайло. «Видишь, – молвит медведь, – не всякому слово ключ. «Чистому – чисто, а скверному – во осуждение». Давай-ка, Алеша, обратно бочонок на корень положим, «да будет место всякой вещи своё»». Алеша голову повесил: «Виноват есмь. Прости, отец-лес». Сняли бочонок со сводов, вывезли в поле. Алеша покатило его по траве и сказал смиренно: «Во имя мира, сокройся, чудо, покуда час не настанет». И замок потихоньку занырнул в туман, «яко корабль в млечных водах», растворился, и только круглая трава легла, примялась, да росой засверкала.

Староста же жадный споткнулся в темени, упал носом в крапиву и неделю потом шмыгал, «яко мышь в амбаре»: так и запомнил, что чужого желать – себе беду звать. Алеша вернулся бочонок Михайле, поклонился до земли: «Возьми, хозяин лесной, и научи меня разуму».

²⁰ «яко тать nocturnal» – как ночной вор

Медведь лапой его коснулся, не ударил, а благословил: «Пойми, добрый молодец: чудо не за тем дано, чтоб пузо набить, но дабы нужду облегчить. «Аще имаши²¹– делись, аще не имаши – не воруй». И коли час придет великий – сам покатым бочонок, людям в утешение».

С той поры Алеша стал разумнее: ходил меж людей, работал, «не гордись», и только по особой беде, когда пожар деревню пожрал или моровая тень на поля падала, приходил к дубу седому. С медведем вместе, как братья, покатывали бочонок. Замок являлся, слуги невидимые выходили служить, кормили голодных, согревали мерзнувших, поили больных травами душистыми. А как беда проходит – опять: «аще время mine²²», – бочонок на корень, замок – в туман, слуги – в тишину.

И сказали люди: «Добро с разумом – пшеница со жнецом; аще без разума – плевелы». А дуб седой листом шептал: «Мир дому сему». И Михайло Потапыч, старея, усмехался в усы: «Слава Богу за всё». И был мир. И была сказка. Аще кто спросит: «Правда ли это?» – ответим: «Аще веру имаши – будет тебе по вере».

²¹ «имаши» – имеешь

²² «mine» – придет, настанет

Как ведьма дочь замуж выдавала



За болотом кочковатым, в дебрях лесных, жила-была ведьма Чувелиха – хитрая да смышленная, да не злая по природе, токмо своенравная. Имела она дочь единородную – Меланью светлокосу, девицу стыдливую, добронравную, что поутру росу собирала, по вечерам птицам пела, а промеж тем травы сушила и стариков лечила. И рекала Чувелиха, шевеля веник березовый: «Аще добрую долю дочери желати, надобно ей мужа достойного. Не абы кого, но царевича бы – дабы честь рода укрепить».

И стала Чувелиха думать-раздумывать, как суженого приманить. В тот час по тракту большому царевич Горислав ездил: то на охоту, то на богомолье, то государевы дела вершил. Молва шла: «Царевич – молодец из молодцов, статен, да не горд, глаз светел, мысль ясна». Чувелиха и решила: «Аще к нам дороженька его ведома, так и судьба не мимо пройдет».

В полночь, под «звезды тиха», вынесла Чувелиха из сундука плат вышитый, на нем узоры змеевины, да цвет хвощевой, да знак древний – круг небесный. Шепнула: «Аще бысть воля Божия, тако и путь положится». Взяла метлу, не для полета стало быть – с теми делами она

осторожна была – но для черты обереговой: очертила круг у лесной тропы, трижды прошептала: «Да мимо не минеши, аще добр помысл твой²³».

Наутро ехал Горислав с дружиной. Туман синий над болотом стлался, птицы молчали – непозволенный час. И тут кони их, словно мягкая рука прикоснулась, сбавили ход, а царевич увидал девицу – Меланью – у зыбины стоящую, воду из ключа черпающую в ковш берестяной. Лицо – как месяц меж облаков, речь – тихая, «яко ключевая». И спросил: «Дева кроткая, кто ты и чьих будешь?» Отвечала Меланья, поклонившись: «Аз есмь дочь вдовствующей травницы. Аще милостив будеши, напои дружину твою живою водою, путь легче станет».

Царевич испил – да так, будто свет в нем разгорелся. Уселся на пенё, слушает, как девица говорит, не торопясь, не искушая. Дружина же меж собою перешептывалась: «Нешто лес нас пленит?» Но спокойно им было, «яко во храме». Тут из-за елок выступила Чувелиха, низко поклонилась: «Мир дому вашему, добрые люди. Есть у нас крошево, хлеб да гриб, и квас березовый. Аще не гнушаетесь – почтите наш стол».

Погостили. Горислав с Меланьей беседовал о травах, о правде, о том, что «аще добро твориши – добро и пожнеши». И сердце его склонялось. Но порядок царский строг: не взять ему девицу без благословения отца-царя и без испытаний, «яже закон повелевает». Сказал: «Добра ты, дева. Аще суждено – свидимся мы во дворце. Но прежде явись с матушкой на праздник Спасов, там суд людской, да Божий, ясен».

Чувелиха улыбнулась в усы... которых, впрочем, не имела, но привычка колкая у нее была. Думала: «Аще дойдет дело до дворца – смех их, да скука их, да зависть их Меланью опалит. Надобно бы укрепок невидимый, да не лукавый». И в ту ж ночь она связала три нити: красную – на любовь, синюю – на правду, белую – на милость. Прошептала: «Не привораживаю, но ограждаю: аще вера чиста – помоги; аще мысль лиха – иссуши». И вложила нити в косу дочерью.

Пришел Спас. Народ стекся: купцы, стрельцы, бабы в платах, боярыни в жемчуге. Царь на крыльце, мудрый и строгий. Рядом – царевна-сестра, добрым глазом глядит; а окрест – завистливые. Вышла Меланья в сарафане, скромна, как зоренька. Чувелиха держится позади, низко кланяется, а сама внимлит, как поле к дождю. Царь вопрошает: «Кто вы и с чем пришли?» Меланья отвечает: «Не златом пришли, не лестью, но со трудом нашим. Аще угодно – покажу, что рука женская и душа незлобная дому царскому пригодна».

И начались испытания. Первое – «на кротость»: велено было успокоить царева коня буйногривого, что никому руки не давал. Подошла Меланья, не шепчет чар, не свистит, только ладонью тихо к глазу коню прикоснулась и сказала: «Аще не боишися – и аз не убоюся». Конь фыркнул, дыхнул ей в плечо и смирился. Второе – «на смекал»: пута тайная, узор старого узелка, где улик скрыт – кто во дворце ворует хлеб сиротам. Взяла Меланья веретено, нити свои вынула – красную, синюю, белую, – пряла, и по тому, как нить дергалась да путалась, вывела воришку – не бедняка, а приказчика злого. Люд возроптал, царь нахмурился, но правда – «яко солнце», не спрячешь.

²³ «да мимо не минеши, аще добр помысл твой» – да не пройдеши ты мимо цели, если помысел твой добр

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.